

R 18.526
R 1a

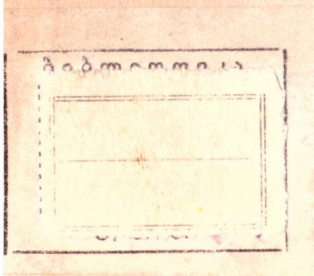
АЛЬД ШПЕНГЛЕР

ДЕНЬГИ и МАШИНА

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРЕДИСЛОВИЕМ
ПРОФ. Г. ГЕНКЕЛЯ



1017



ОБЩЕСТВЕННО-КООПЕРАТИВНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ».
ПЕТРОГРАД—1922.

1 (43)

ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР

~~МЫСЛЬ~~

1

~~18526~~

ДЕНЬГИ и МАШИНА

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРЕДИСЛОВИЕМ
ПРОФ. Г. ГЕНКЕЛЯ

83-2015-4552
18526
1a
64
2986

9633



ЦЕНТРАЛЬНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО „МЫСЛЬ“.
ПЕТРОГРАД—1922.



1(430)

ՀԻՆՏՈՒՄ ԵՐԱՆՈՒՄ

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Предлагаемая вниманию читателей брошюра представляет перевод заключительной главы второго тома многознаменательного сочинения д-ра Освальда Шпенглера „Закат Европы“ (Der Untergang des Abendlandes, Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte). В оригинале глава эта носит заглавие „Die Formenwelt des Wirtschaftslebens“ (букв. Мир форм хозяйственной жизни) и посвящена рассмотрению вопроса о той революционной роли, которую суждено сыграть в пределах современной цивилизации двум мощно-властным факторам — финансам и технике. Сообразно с этим и названная глава распадается у Шпенглера на две части, носящие заголовки „Деньги“ и „Машина“. Предложить русской читающей публике голый перевод данной главы, завершающей огромное и, несмотря на свою громоздкость, изящно-стройное здание шпенглеровской идеологии, нам по ряду соображений казалось совершенно неприемлемым. Лишь в связи со всем зданием замыкающая его крыша (вернее, как мы сейчас увидим, верхний этаж его) в достаточной мере оценивается и осознается в архитектурном отношении. Поэтому читатели не посетуют, если в этом кратком предисловии мы попытаемся набросать в самом схематическом виде хотя бы план шпенглеровских построений, его идеологии. Конечно, это будет только сжатый набросок-эскиз, притом посвященный главным образом пояснению содержания преимущественно данной заклю-

чительной главы книги Шпенглера. Мы далеки от мысли буквально в двух словах охарактеризовать многогранную личность самого модного в настоящую минуту и, пожалуй, самого выдающегося немецкого мыслителя-историка. Мы ограничимся неизбежным и отсылаем интересующихся Шпенглером к выходящему в ближайшие дни полному переводу первого тома его капитального сочинения, а также к нашему переводу его последней брошюры, где он задает вопрос своим критикам—пессимистично ли, действительно, его мирозерцание или нет, и доказывает, что он, Шпенглер, далек от пессимизма ¹⁾). В этой брошюре, естественно, проливается свет на общую концепцию мировой истории у автора.

С другой стороны, небольшое предисловие к брошюре „Деньги и Машина“ необходимо и в видах своеобразности стиля и особенно терминологии Шпенглера. Как метко выразился один из русских писателей, посвятивший Шпенглеру общую характеристику, в основе „Заката Европы“ не лежит аппарата понятий, в основе его лежит организм слов. Понятие—мертвый кристалл мысли, слово—ее живой цветок.... Слово всегда многомысленно, неуловимо, всегда заново нагружено новым содержанием. „Закат Европы“ сработан Шпенглером не из понятий, но из слов, которые должны быть читателем прочувствованы, пережиты, увидены. Слов этих в „Закате Европы“ в сущности очень немного ²⁾). Тем не менее слова эти, в виду своей гибкости, требуют некоторых пояснений, особенно если принять во внимание своеобразный стиль Шпенглера. Слог его далеко не ясный, весьма местами вычурный и потому трудно переводимы на хороший русский язык особенно те места, в которых немецкий мыслитель углубляется в дебри своих рассуждений, часто страдающих большою субъективностью,

¹⁾ Освальд Шпенглер, „Пессимизм?“, перевод и предисловие мои („Современная культура“, изд. „Academia“). Есть и другой, позже вышедший перевод этой книжки.

²⁾ Ф. А. Стегун в сборнике „Освальд Шпенглер и Закат Европы“ (изд. „Берег“) в статье, по которой и озаглавлен сборник, стр. 7.

а потому и выливающихся в не совсем сразу общедоступную форму. Чтобы „прочувствовать“ Шпенглера (а без этого не так-то легко поймешь его), необходимо очень и очень вчитаться в него, освоиться с его *modus loquendi*. Прежде, однако, чем дать в двух словах схему его философской концепции, да будет позволено сказать немного об его книге, которая теперь лежит перед нами в почти законченном двухтомном виде. Если я говорю в почти законченном виде, то потому, что Шпенглер в своем вышедшем прошлую зиму одним из повторных изданий первом томе дал примерное оглавление анонсированной второй и последней части „Заката Европы“. Он предполагал разбить материал II тома на шесть глав. Последняя должна была носить заглавие „Das Russentum und die Zukunft. Schluss“ (Мир русский и будущее. Заключение.) Между тем этой-то заключительной главы во II томе нет, к великому сожалению, и книгу замыкает глава, теперь предлагающаяся в русском переводе. Вероятно, Шпенглер, пока не особенно хорошо и многосторонне знающий Россию, посвятит ей в связи с „Закатом Европы“ отдельное большое исследование, как он сделал это по отношению к Германии, дав в свое время оригинальный очерк „Preussentum und Sozialismus“ (Пруссизм и социализм), успевший выдержать в короткое время ряд изданий в числе 65.000 экземпляров.

Как известно, основной труд Шпенглера „Закат Европы“, если не самое глубокое, то во всяком случае сейчас наиболее модное и интересное произведение западно-европейской мысли. Задуманное еще в 1911 г. в виде политической брошюры, оно к 1917 году разрослось в обширный, в 45 печ. листов, том, посвященный, на основании кропотливейшего, многостороннейшего труда, проблемам формы и действительности исторического процесса. Том этот назван в подзаголовке „Очерком морфологии мировой истории“, вызвал в свое время целую бурю вокруг дотоле совершенно неизвестного автора, скромного учителя одной из германских гимна-

зий. Дав в „Введении“ очерк своего собственного миро-
созерцания, вернее—своего мироощущения и своей идеоло-
гии, и подтвердив все сказанное рядом интереснейших
экскурсов в области науки, искусства, религии и фило-
софии, Шпенглер пришел к безотрадному (на первый
взгляд) выводу, что Западная Европа переживает один
из своих тяжелых кризисов, который должен завер-
шиться „закатом“ западно-европейской культуры. Я совер-
шенно определенно избегаю здесь переводить термин
„Untergang“ выражением „гибель“, как делают очень
многие. Дело в том, что слово Untergang буквально
означает „заход“, „закат“, и, заимствованный от картины
заходящего солнца, вовсе не имеет того печального зна-
чения, в котором его также нередко употребляют (гибель,
конец). Закат не есть гибель, не знаменует конца,
а является антитезой восхода, который представляет
его естественное, неизбежное следствие. И если вчи-
таться внимательно в Шпенглера, то мы увидим, что
именно в смысле заката с последующим за ним новым
восходом он и понимает выражение Untergang des Abend-
landes. Да, зайдет культура, угаснет цивилизация совре-
менного Запада, но на смену им уже разгорается и вскоре
осветит мир лучезарным сиянием новое утреннее солнце
на Востоке и принесет этому миру свет, и радость,
и культурное обновление, новую жизнь, новые силы
и—новую борьбу, ибо где борьба, там и жизнь. Вот
в этом-то смысле и многозначительны труды Шпен-
глера, так упорно и близоруко обвинявшегося его много-
численными врагами в пессимизме. Не пессимизм, не
отчаяние, не гибель и вечную смерть проповедует немец-
кий мыслитель в тягчайшую годину бедствий мате-
риально и морально сокрушенной своей родины, а, напро-
тив, мощным призывом к бодрости, энергии, жизни, пре-
одолению звучат его местами прямо-таки вдохновенные
страницы. Правильно выразился Н. А. Бердяев в своей
статье „Предсмертные мысли Фауста“: „В России скрыта
тайна, которую мы сами не можем вполне разгадать. Но
тайна эта связана с разрешением какой-то темы всемир-

ной истории. Час наш еще не настал. Он связан будет с кризисом европейской культуры. И потому такие книги, как книга Шпенглера, не могут не волновать нас. Такие книги нам ближе, чем европейским людям. Это—нашего стиля книга“¹⁾. К этому я прибавил бы еще—„потому что эта книга будит нашу энергию, заключает в себе мощный призыв к делу, переносит центр тяжести всей современной жизни из области слов в сферу действий. Поменьше слов—побольше дела!“

Вот почему не о гибели, а лишь о закате и тесно связанной с ним уверенности в сиянии нового дня может быть тут речь. Вот почему книгу Шпенглера следует приветствовать нам, русским: она не только кладезь большой теоретической и практической мудрости, которую нам нужно усвоить путем внимательного и усердного изучения, она по всему тону своему, по своим лейтмотивам великая героическая симфония, несущая именно нам благовую весть—уверенность будущего обновления и счастья. И если в этой книге масса спорного, множество неверного, если блестящие парадоксы Шпенглера порою оказываются основанными на мнимо-прочных или совсем шатких базах, то из этого отнюдь не следует, чтобы мы отвернулись от нее, или—что еще хуже—отнесли бы к ней враждебно. Пусть в основе ее лежит ряд неправильных мыслей, или мыслей, слишком окрашенных и проникнутых скептическим релятивизмом Шпенглера, его глубокою суб'ективностью; тем интереснее проследить их, раскрыть Ахиллову пяту интересного, как философа, историка и человека, Шпенглера, чтобы—научиться у него нахождению правильного пути к разрешению волнующих весь мир проблем. В самом возбуждении и по мере сил (и каких сил!) раскрытии и разрешении этих проблем грандиозная заслуга Шпенглера и его значение, долгое, прочное, основательное в истории европейской мысли. Правда, проф. Л. П. Карсавин в брошюре „Восток, Запад и Русская идея“, напи-

¹⁾ Цитированный сборник, изд. „Берег“, стр. 72.

санной под непосредственным впечатлением чтения Шпенглера, заявляет (стр. 11): „Я вовсе не считаю эту книгу философски значительной и ценною по общим ее выводам. Но Шпенглер, никудышный философ (к тому же не без мании величия),—один из талантливейших историков. Его блестящие и парадоксальные сопоставления превосходно выясняют суть истории, подводят к пониманию ее природы. Книга Шпенглера должна стать настольною для начинающего историка, хотя многим, конечно, принесет больше вреда, чем пользы. Не даром и теперь главной темой ее считают ответ на вопрос: гибнет или не гибнет запад“. Но в этой тираде со многим нельзя согласиться. Шпенглер философ, несомненно, недюжинный, хотя далеко и не оригинальный. Многие из его мыслей были высказаны раньше его другими, и яснее, и лучше ¹⁾. Он несомненно первоклассный историк, будящий мысль, ведущий по новым путям, подходящий к проблемам истории с новою меркою; а если его книга попадет в руки начинающих историков, которые не захотят или еще пока не сумеют ее продумать, прочувствовать и пережить нутром, то из этого следует одно: эту книгу, действительно, для них настольную, они проштудируют и вполне усвоят несколько позже, когда они уже не будут начинающими историками... Не в этом минусы книги Шпенглера, а в другом: автор слишком немец, слишком современный немец, плод своей культуры, своей цивилизации, слишком современный европеец со всеми признаками, присущими современному западному декадансу. Слишком много в нем субъективности, и в результате порою определенной непоследовательности в выводах, увлечения его мысли сферою чувства, вот где изъяны Шпенглеровской идеологии. Недаром Ф. А. Степун называет его не только релятивистом, но и романтиком и мистиком-гностиком.

¹⁾ См. ст. Ф. А. Степуна, в ук. сборнике изд. „Берег“, стр. 27—30, где автор с большою старательностью и любовью, но не особенно успешно, стремится доказать оригинальность творчества Шпенглера.

(стр. 14—15 названной выше статьи). Если мы при чтении Шпенглера будем иметь в виду все сказанное, то, несмотря на очень частое противоречие ему, сумеем все-таки очень и очень многое взять и получить от него. Важна ведь большею частью не истина, которая по природе своей не может быть абсолютною, а ценно стремление к ней, тот комплекс усилий, который прилагается на тернистом пути нахождения ее...

Так, видно, на Западе и начинают понимать роль Шпенглера и его многонашумевшей книги, около которой выросла не только в Европе, но и в Америке, весьма значительная литература. Критики Шпенглера не дремлют. Недавно вышла книга Леонардо Нельсона „Spuk“ (Призрак) в Лейпциге; тут ученые автор раскрывает всю несостоятельность шпенглеровских взглядов на математику и, что гораздо важнее, слишком одностороннее и предвзятое им понимание „духа времени“, на чем, между прочим, базируется почти все здание шпенглеровского мироощущения. В Мюнхене, где издаются труды Шпенглера, также на днях вышла книга Отто Нейрата, озаглавленная „Antispengler“ (против Шпенглера) с резкою критикою скептического релятивизма Шпенглера и с предупреждением молодежи быть осторожной в смысле бесконтрольного усвоения выводов модного мыслителя. В Германии и Австрии образовались особые общества, посвященные изучению Шпенглера, есть даже целый „Forschungs-Institut für Kulturmorphologie“ (Исследовательский Институт морфологии культуры), возглавляемый известным ученым Лео Фробениусом и О. Шпенглером и уже выпустивший замечательное программное сочинение первого (Paideuma), посвященное новому пониманию культуры и психологии. Наконец в самое последнее время вышел в Мюнхене-же труд Манфреда Шрётера „Der Streit um Spengler. Kritik seiner Kritiker“ (Спор о Шпенглере. Критика его критиков). Все это более, чем характерно и показательно: Шпенглера критикуют и на этом у него поучаются. Отрицательные выводы из шпенглеровского мироощущения ценнее, быть может, тех

положительных следствий, к которым приходит автор.

Выше мы видели, что Шпенглер мыслит не понятиями, а словами, и слов этих у него в сущности весьма немного. Какие же это слова? Тут на первом плане встречается термин *Urseelentum*, переводимый чрез „мировая душа“, „перводушевность“; затем всюду проводится резкая грань между „культурною“ и „цивилизациею“, в обыденной речи сплошь и рядом совпадающими; говорится об особом значении „пространства“ и „времени“, вводится термин „одновременность“, понимаемый Шпенглером совсем не так, как это обычно принято, наконец, вводятся такие выражения, как „аполлиническая“, и „фаустовская душа“, „душа готическая“, „магическая“ и т. п. Все это требует пояснений.

Во „Введении“ к первому тому Шпенглер дает обоснование своего мирозерцания и понимания мировой истории, распадающейся на ряд независимых друг от друга культурных циклов (античность, магическая культура, готическая, фаустовская), имеющих каждый свою душу, которая, подобно растению, возникает, вырастает, созревает и, увядая, умирает, переживает свои времена года—весну, лето, осень, зиму. Каждой культуре, в момент упадка переходящей в цивилизацию, присуща своеобразная душа, подобно душе человека, покидающая тело в момент его смерти и—сливающаяся, по мнению Шпенглера, с душою мировую, перводушевностью. Умирая, культура в лице цивилизации раз навсегда завершает свой круг, оставляя в виде следа о себе на страницах мировой истории свою своеобразную, строго индивидуальную физиономию. Изучение и усвоение этих культурных физиономий Шпенглер именует физиономикою и требует для полного усвоения духа, души культуры и цивилизации от исследователя так назыв. физиономического такта.—Оригинальность Шпенглера в том, что он как-будто считает культурные циклы самодовлеющими, законченными явлениями, не находящимися между собою в связи причины и следствия или хотя бы внешней преемственности. Основываясь на единственно, по его мнению,

правильном историческом методе своего учителя Гёте („в жизни важна сама жизнь, а не ее результаты“), Шпенглер устанавливает понятие мировой истории, как последовательной смены отдельных нарождающихся и умирающих культурных организмов. Цивилизацию он считает конечным, завершающим аккордом всякой культуры и видит в ней начало ее конца. Каждая культура под знаком своей судьбы. Это приводит Шпенглера к расширению понятия исторической морфологии и в универсальную символику, к установлению моментов физиономики и некоторой систематики (в этом отношении шпенглеровская теория не сходится с его практикою—он весьма несистематичен) в ходе мировой истории и к отрицанию всей книжной, да и вообще всякой философии.

Установив смысл чисел и проведя разницу между числами математическими и хронологическими, автор, отвергая понятие „числа как такового“, констатирует внутреннее сродство математики с языком форм сопутствующего ей искусства и проводит параллель (именуемую им „одновременностью“, хотя бы хронологически явления были отделены друг от друга громадными промежутками времени ¹⁾), между евклидовой геометрией и пластикой античных статуй с одной, математическим анализом и контрапунктом с другой стороны. Для античности число было замкнутою величиною — мерою, тогда как для западно-европейца оно — функция. Эмансипируясь от античного понятия величины и все более развивая понятие функции, западно-европейская математика постепенно исчерпывает свое содержание и разлагается, как, впрочем, должны разлагаться и все другие воплощения утвердившейся и клонящейся к концу своему цивилизации. Установив смешение физико-причинных методов с приемами историко-физиономическими, Шпенг-

¹⁾ В этом отношении особенно интересны оригинальные quasi-синхронистические таблицы „духовных эпох“, приложенные Шпенглером к I тому.

лер усматривает сущность мировой истории в „процессе“, в „становлении“. Основным стимулом всегда в этом становлении, являются два момента — голод и любовь. В V главе I тома, которая посвящена психике отдельных культур, рассматриваемой, как функция миропонимания, Шпенглер, ранее давший в отделе „Макрокосм“ символику мироизображения и проблему пространства и времени, а также детальную характеристику аполлинической (античной), магической (арабской), фаустовской (современной) психики, противопоставляет эти психики друг другу и устанавливает глубокое различие между аполлиническим трагизмом и фаустовским. Так, в соответствии с античным восприятием пространства, как рядоположения отдельных тел, греческая драма есть драма ситуаций (положений), тогда как в западно-европейской трактовке пространства, как дали, уходящей в бесконечность, этому соответствует психологическая драма характеров.

На слово „процесс“ или „становление“ у Шпенглера накладывается слово „мир“, как „ставшее“. В этом заключается сущность истории великих культур, выявляющих жизнь, живущих, развивающихся, зреющих и, увядая, умирающих. Все это происходит, конечно, во времени, заменяемом у Шпенглера понятием и термином „направления“, „устремления“, „устремленности“. Жизнь становится во времени, а устанавливается в „пространстве“, причем пространство равносильно у него „мертвому времени“, смерти. Все эти процессы протекают под знаком „судьбы“, органической логики бытия, которую немецкий мыслитель строго отделяет от понятия „причинности“, „каузальности“, которая считается „мертвой судьбой“. Если всмотреться в эту терминологию Шпенглера, то мы увидим, что таковой у него в сущности и нет, а есть некоторая, по меткому выражению Ф. А. Степуна (ук. м., стр. 8), условная сигнализация слов, „которую Шпенглер сигнализирует в душу читателя о том, что он знает о жизни, мире и познании“.

Подводя общие итоги своей морфологии мировой истории, Шпенглер приходит к выводу, что мы, люди фаустовской культуры, все устремление которой направлено в даль бесконечности, переживаем момент апогея нашей цивилизации, которая к концу века, изжив себя, уступит место новой, по всей вероятности имеющей надвинуться с Востока культуре. *Ex oriente lux!* С Востока свет! Это звучит не страхом смерти, а призывом к новой жизни. И чтобы встретить эту жизнь с полною сознательностью и вступить в нее в полном вооружении подготовленности, необходимо остающееся нам еще время использовать практически. Не философия с ее мнимыми истинами, а техника с ее фактами, не пустые слова, а живое дело, не прозябание, а живая, ключем бьющая жизнь—вот проповедь Шпенглера, так плохо и превратно понимаемого. Деньгам, этому детищу современности, и машине, этому высшему выявлению фаустовского мироосязания и природоощущения, поется восторженный дифирамб в заключительной главе оригинальной симфонии ученого немецкого-историка парадоксалиста. По праву ли, это покажет, конечно, будущее, но уже теперь можно сказать, что многие определенно неверные предпосылки Шпенглера, которыми полна его замечательная книга, приведут, разумеется, к совершенно иным следствиям, чем которых ожидает многогранный философ-художник. Кардинальные ошибки его построений прекрасно выяснены в статье Я. М. Букшпана, „Непреодоленный рационализм“ (в указ. сборнике изд. „Берег“, стр. 73 и сл.), к которой и отсылаем интересующихся более подробно характеристикой „философии“ Шпенглера.

Г. Генкель.

3 октября 1922 г.

Деньги.

I.

Той точки зрения, с которой может быть понимаема история хозяйственного быта высоких культур, не следует искать на почве самого хозяйства. Хозяйственные мышление и деятельность, рассматриваемые как самостоятельный вид жизни, представляют одну сторону жизни, неправильно освещаемую. Менее всего ее можно найти в области современного мирового хозяйства, в течение 150 последних лет являющего процесс фантастического, опасного, в конце концов почти отчаянного развития; последний носит исключительно западно-европейский, динамический характер, будучи менее всего общечеловеческим.

То, что в настоящее время именуется политической экономией, построено на основании исключительно и специфически английских предпосылок. Центральное место занимает, как будто бы то разумеется само собою, всем прочим культурам совершенно неведомая машинная промышленность и она-то бессознательно для нас обуславливает возникновение понятия и выведение т. наз. законов. Бумажные деньги в той особенной форме, которая явилась следствием английских соотношений между мировой торговлею и вывозною промышленностью в стране, не имеющей крестьянства, обосновывают определение понятий „капитал, ценность, стоимость, состояние“, кото-

рые затем без дальнейших околичностей применяются к другим культурным ступеням и кругам. Во всех экономических теориях островное положение Англии определило понимание политики и ее отношение к хозяйству. Творцами этого экономического изображения являются Давид Юм¹⁾ и Адам Смит²⁾. То, что затем было написано в развитие их положений и против них, всегда бессознательно предполагает критические свойства и методы именно их систем. Это в одинаковой мере можно применить к Кэри и Листу, как и к Фурье и Лассалю. Что же касается величайшего противника Адама Смита, Маркса, то совершенно не важно, что, стоя на точке зрения представлений английского капитализма, он громко против него протестует: тем самым он признает его и только путем другого рода подсчета стремится марксовским объектам предоставить выгоду субъектов.

От Смита до Маркса мы имеем дело только с самоанализом хозяйственной идеологии в пределах одной единственной культуры, притом на одной единственной ее ступени. Этот анализ насквозь рационалистичен, исходит из материи и ее условий, нужд и стимулов, вместо того, чтобы исходить из духа поколений, сословий, народов и их конструктивной силы. Он рассматривает человека, как придаток данного положения вещей, и ему ничего не ведомо о великой личности, как таковой, и о творящей историю воле отдельных особей и целых масс, воле, усматривающей в хозяйственных фактах средства, но не цели. Он считает хозяйственную жизнь чем-то таким, что без остатка, целиком, объяснимо на основании видимых причин и следствий, что построено вполне механистично и всецело в себе замкнуто и что наконец к также мыслимым самодовлеющими областям политики и религии стоит в некотором причинном соотношении. Так как подобного рода манера суждения носит систематический, а не исторический характер, то тут устанавли-

1) Political discourses, 1752.

2) Знаменитый „Inquiry“, 1776.

нается вера в не ограниченную во времени ценность понятий и правил, и честолюбиво ревнуют о том, чтобы установить единственно правильный метод вообще ведения хозяйства. Потому-то эта теория терпела полнейшее фиаско во всех тех случаях, когда ее истины сталкивались с фактами; таковы, напр., были предсказания о начале мировой войны, сделанные буржуазными¹⁾, и об организации советского хозяйства—пролетарскими теоретиками.

Итак, пока еще не существует политической экономии, поскольку под нею подразумевается морфология хозяйственной стороны жизни, притом жизни высоких культур с их равномерною по степени, темпу, длительности выработкою хозяйственного стиля. Ведь хозяйство не обладает системою, но имеет физиономию. Чтобы проникнуть в тайну его внутренней формы, его души, требуется физиономический такт. Чтобы преуспевать в нем, нужно быть знатоком, подобно тому, как существуют знатоки людских характеров и знатоки лошадей; при этом не требуется никакого „знания“; ведь и всадник может ничего не „знать“ в области зоологии. Но такое основательное знание может быть вызвано взглядом на историю, притом сочувственным, заставляющим чувствовать те тайные расовые стимулы, которые проявляются также в хозяйственно-действенных особях, стремящихся символически по собственному внутреннему содержанию определить внешнее положение—экономический „материал“, нужду. Всякая хозяйственная жизнь является выразительницею жизни душевной.

Таково новое, немецкое понимание хозяйства, безотносительно к капитализму и социализму, которые оба являются результатом трезвобуржуазной разумности XVIII века и которые не хотели быть ничем иным, как

¹⁾ Вообще представление людей науки сводилось к убеждению, что экономические последствия мобилизации заставят покончить с войною уже чрез несколько недель.

анализом содержания—и на этом основании конструкцией — хозяйственной обстановки. То, чему до сих пор учили, имеет лишь пропедевтический характер. Мышление в области хозяйственной, подобно мышлению правовому, еще ожидает настоящего своего развития, которое, подобно тому, как то было в эллинистически - римскую эпоху, начинается лишь с того момента, как окончательно уходят в прошлое искусство и философия.

Предлежащий очерк не стремится быть ничем, как лишь беглым взглядом на имеющиеся тут возможности.

Хозяйство и политика являются разными сторонами одного живо протекающего бытия, не бодрствования, не духа. В обоих проявляется такт космических течений, замкнутых в последовательных поколениях единичных существ. Они не имеют истории, они суть сама история. В них правит невозвратимое время, принцип „когда“. Оба, с их пространственно-причинными тенденциями, как религия и наука, принадлежность расы, а не языка; оба имеют дело с фактами, а не с истинами. Как во всех религиозных и научных учениях существует вневременная связь между причиной и следствием, так существуют политические и хозяйственные судьбы.

Итак, у жизни имеется политическая и хозяйственная манера представляться для истории „в виде формы“. Они покрывают, поддерживают друг друга или борются между собою, но политическая сторона безусловно имеет перевес. Жизнь хочет сохранить себя и настоять на своем, вернее, она стремится укрепиться, чтобы настоять на своем. В хозяйственном отношении течения бытия существуют только, как единицы самодовлеющие, в политическом—для взаимоотношения с другими. В этом смысле не видно никакой разницы и никаких изменений, начиная с простейших одноклеточных растений и до масс и народов, наивысших свободно движущихся в пространстве существ. Питаться и бороться друг с другом:

степень различия обеих сторон жизни уясняется на их отношении к смерти. Нет более резкого контраста, как между голодною и геройскою смертью. В хозяйственном смысле жизнь подвергается опасности, унижается, умаляется голодом в самом широком смысле слова; сюда же относятся невозможность развить свои силы полностью, узость жизни, мрак, гнет, а не только непосредственная опасность. Целые народы вследствие гложущей бедственности своего жизненного быта утратили свою расовую упругость. Тут происходит умирание от чего-то, а не за что-то. Политика жертвует людьми для определенной цели; они гибнут за идею; хозяйство только портит их. Война — творец, голод — истребитель всего великого. Там жизнь возвышается благодаря смерти, нередко достигая той непреодолимой силы, голая наличность которой уже знаменует победу; тут голод пробуждает тот безобразный, пошлый, совершенно неметафизический род страха жизни, от которого совокупность высших форм культуры сразу рушится, и тогда начинается ничем не прикрытая борьба за существование озверелых людей.

В другом месте¹⁾ была уже речь о двойном смысле всякой истории, поскольку он обнаруживается в контрастах мужчины и женщины. Существует история частная, которая изображает „жизнь в пространстве“, как результат браков поколений, и история общественная, которая защищает и обезопасивает эту жизнь, как политическое „бытие в форме“ (In-Form sein): это — „сторона веретенная“ и „сторона мечевая“ бытия. Обе эти стороны находят свое выражение в идеях семьи и государства, но рядом с этим также и в основной форме жилища, где добрые духи брачного ложа (гений и Юнона всякого древне-римского жилища) охраняются дверью, Янусом. Рядом с частною историею рода

¹⁾ На стр. 404 и сл. (II тома немецкого оригинала книги Шпенглера).

становится теперь история хозяйства. От продолжительности цветущей жизни не может быть отделена ее сила, от тайны оплодотворения и зачатия неотделимо питание. В своем наиболее чистом виде эта связь выявляется в существовании сильных расовыми признаками крестьянских поколений, которые, здоровые и плодородные, крепко коренятся в своей земле. И подобно тому, как в теле половой орган связан с органами кровообращения, так и средина дома в другом смысле обозначает священный очаг, Веста.

Именно в виду этого-то история хозяйства—нечто совершенно отличное от истории политической. Тут на переднем плане стоят великие однократные судьбы, которые, правда, совершаются в определенно вяжущих формах эпохи, но из которых каждая сама по себе носит строго персональный характер. Там, подобно тому, как это наблюдается в истории семьи, дело идет о процессе развития языка форм, и все однократное и персональное представляет малозначущую частную судьбу. Только основная форма миллионов случаев принимается в расчет. Но хозяйство все-таки лишь фундамент всякого сколько-нибудь разумного существования. Собственно важно не то, чтобы быть в добром состоянии, хорошо питаться и быть продуктивным в смысле размножения, будь то отдельная особь или целый народ, но в том, для чего это так, и чем выше поднимается человек в историческом смысле, тем сильнее превосходит его политическое и религиозное хотение, по глубине символики и силе выражения, все то, что имеется формально глубокого в жизни хозяйственной. Лишь когда, с появлением цивилизации, начинается отлив всей совокупности форм, очертания простого поддержания жизни выступают в неприкрашенном и назойливом виде; и вот тогда-то наступает то время, когда плоское изречение „о голоде и любви“, как движущих силах бытия, перестает быть бесстыжим, когда смысл жизни составляет не накопление сил для какой-либо задачи, но счастье большинства, благополучие его и удобства, „*panem et circenses*“,

и когда, вместо крупной политики, самоцелью становится политика хозяйственная.

Принадлежа к расовой стороне жизни, хозяйство, подобно политике, обладает бытом, а не моралью, чем отличаются аристократия от жречества, факты от истин. Каждый класс людей одной профессии, как и каждое сословие, обладает само собою разумеющимся ощущением не добра и зла, но хорошего и плохого. Кто не обладает им, тот бесчестен и подл, ибо честь и здесь занимает центральное положение, отделяя тонкость чутья того, что прилично, чувство тактичности хозяйственно действенных людей, от религиозного мирбозерцания и его основного понятия—греха. Существует весьма определенная профессиональная честь у купцов, ремесленников, крестьян с тонкими, но оттого отнюдь не менее точными, градациями для содержателя магазина, экспортера, банкира, предпринимателя, для горнорабочих, матросов, инженеров, даже, как известно каждому, для разбойников и нищих, поскольку они чувствуют себя товарищами по профессии. Никто не установил и не написал этих правил, но они существуют; как все сословные обычаи, они повсюду и во все времена различны и являются обязательными каждый раз исключительно в соответствующем профессиональном кругу. Рядом с аристократическими добродетелями верности, храбрости, рыцарственности, товарищества, которые не чужды никакой профессиональной группе, появляются резко выраженные представления об этической ценности прилежания, успеха, труда и изумительное чувство расстояния. Подобные данные человек имеет, даже часто о том не зная (лишь нарушение заставляет осознавать обычаи, в противоположность религиозным заповедям, общеобязательным и вневременным), но как никогда не осуществленные идеалы, которые приходится сперва усвоить, чтобы знать и следовать им. Религиозно-аскетические основные понятия вроде „самоотрицания“ и „безгрешности“ в пределах хозяйственной жизни не имеют смысла. Для истинного святого хозяй-

ство вообще—грех ¹⁾), а не только взимание процентов и радость обогащению, или следующая за этим зависть бедняков. Сказанное о полевых лилиях остается безусловною правдою для глубоко религиозных (и философских) натур. Они стоят всею тяжестью своего существа вне хозяйства и политики и всех прочих фактов „мира сего“. Это показывают в одинаковой степени время Иисуса и эпоха св. Бернарда, а также основное мироощущение у современных русских, равно как образ жизни Диогена или Канта. Поэтому люди избирают добровольную бедность и паломничество и спасаются в монастырских кельях или рабочих кабинетах ученых. Никогда религия или философия не выявляются действенно с хозяйственной стороны, но всегда это результат политического организма церкви или социального теоретизирующего сообщества. Всегда тут являются компромисс с „миром сим“ и признак воли к власти ²⁾.

¹⁾ „Negotium (под этим подразумевается всякий вид заработка; торговое дело именуется commercium) negat otium neque quaerit v^oram quietem, quae est deus“—„заработок отрицает досуг и не ищет истинного успокоения, которое—в Боге“, сказано в декрете Грациана.

²⁾ Вопрос, заданный Пилатом, также устанавливает соотношение хозяйства и науки. Тщетно религиозный человек, с катехизисом в руке, станет пытаться исправить обиход окружающей его политической среды. Последняя спокойно шествует своим путем и предоставляет того его мыслям. Святому предоставляется только выбор приспособиться—тогда он становится церковным политиканом и человеком бессовестным—или бежать от мира, в пустыню, даже на тот свет. Но то же самое повторяется, пилитом не без комизма, также среди городской интеллигенции. Тут философ, сконструировавший этически-социальную систему, полную отвлеченных добродетелей и, разумеется, единственно правильную, хочет просветить хозяйственную жизнь на счет того, какую она должна быть и к чему стремиться. Здесь постоянно повторяется одно и то же зрелище, безразлично—либеральна, анархистична или социалистична система и имеет ли своим творцом Платона, Прудона или Маркса. Но и хозяйство совершенно равнодушно продолжает свой путь и предоставляет мыслителю выбор уйти от мира и излить свое горе о сей юдоли на бумаге, или вступить в этот мир в качестве политикана-экономиста, причем он либо навлекает на себя насмешки, либо веком посылает свою теорию ко всем чертям, чтобы борьбою раздобыть себе руководящее положение.

II.

То, что можно назвать хозяйственной жизнью растения, происходит на нем и в нем, причем самое растение не представляет ничего, кроме арены и безвольного объекта природного процесса. Этот растительный, „неопределенный, как сон, элемент“ в неизменном виде лежит также в основе „хозяйства“ человеческого организма, ведя тут под видом кровообращения свое странное и безвольное существование. В свободно двигающемся в пространстве теле животного само бытие, впрочем, дополняется бодрствованием, разумным чувствованием, а тем самым и принуждением самостоятельно заботиться о сохранении жизни. Тут начинается страх жизни, который приводит к нащупыванию, чутью, высматриванию, прислушиванию при помощи все более и более утончающихся чувств, а затем ведет к движениям в пространстве, к выискиванию, собиранию, преследованию, обману, хищению; все это у некоторых видов, животных, напр., у бобров, муравьев, пчел, многих птиц и хищных зверей, повышается до степени хозяйственной техники, предполагающей наличность размышления, т. - е. известного отделения понимания от ощущения. Человек в сущности постольку и человек, поскольку его разумение освободилось от ощущения и в форме мышления творчески принимает участие во взаимоотношениях микрокосма и макрокосма. Совершенно животный характер присущ еще женской хитрости по отношению к мужчине, равно как — мужицкой ловкости в достижении мелких выг д; обе они ничем не отличаются от хитрости лисицы, проникая одним понимающим взором всю тайну своей жертвы. Над этим возвышается хозяйственное мышление, заставляющее возделывать поле, приручать домашних животных, изменять, облагораживать, обменивать предметы и придумывать тысячи средств и методов для того, чтобы повисить уклад жизни и превратить зависимость от окружающей среды в господство над нею.

Такова основа всех культур. Раса пользуется таким хозяйственным мышлением, которое достигает такой мощи, что оно отрешается от своих целей, строит отвлеченные теории и теряется в утопических далях.

Вся высшая хозяйственная жизнь развивается на крестьянстве и над ним. Одно лишь крестьянство не предполагает никакого особого своего обоснования¹⁾. Оно в некотором смысле есть раса сама по себе, носящая признаки растения и лишенная истории, исключительно для самой себя производящая и потребляющая, притом с таким взглядом на вещи, при котором всякое другое хозяйство представляется второстепенным и жалким. Этому виду производящего хозяйства противопоставляется затем другой — хозяйства присваивающего, которое пользуется первым, как объектом, заставляет питать его, делает его своим данником или грабит его. Политика и торговля в начатках своих безусловно нераздельны друг от друга; обе они отличаются стремлением к господству, характером личным, воинственным, с ясно выраженной жаждой власти и добычи, а это свойство ведет за собою совершенно иное мирозерцание (не взгляд, брошенный на мир из-за угла, но сверху вниз на его толкотню), как то с достаточною ясностью выявляется в избрании льва, медведя, коршуна, сокола для геральдических фигур. Основная древнейшая война всегда бывает грабительскою; древнейшая торговля теснейшим образом связана с грабежом и пиратством. Исландские саги повествуют о том, как викинги часто сговаривались с населением о неприкосновенности рынков в течение двух недель, чтобы можно было поторговать, после чего брались за оружие, и началось собирание добычи.

Политика и торговля в своем развитом виде — искусство достигнуть фактических успехов над противником,

¹⁾ С кочующими ордами охотников и скотоводов дело обстоит точно таким-же образом, но хозяйственную основу высоких культур всегда составляет такая группа людей, которая крепко держится земли, питает и поддерживает высшие формы хозяйства.

благодаря применению умственного превосходства—обе являются заменой войны другими средствами. Каждый вид дипломатии носит коммерчески-деловой характер, каждое торговое предприятие—дипломатический; оба они основываются на глубоком знании людей и физиономическом такте. Предприимчивость великих мореплавателей, каких мы находим среди финикийцев, этрусков, норманнов, венецианцев и жителей ганзейских городов, умных банкиров, напр., Фуггеров и Медичи, могущественных денежных людей вроде Красса и магнатов колей и трестов современности, требует стратегических дарований полководцев, если предполагающиеся операции рассчитывают на успех. Гордость происхождением, родительское наследство и фамильная традиция в одинаковой степени вырабатываются как тут, так и там; большие „состояния“ подобны царствам, имея свою историю¹⁾, и Поликрат, Солон, Лоренцо де-Медичи, Юрген Вулленвебер отнюдь не являются единственными примерами политического честолюбия, развившегося из честолюбия купеческого. Но—настоящий князь и государственный деятель хочет властвовать, а настоящий деловой человек стремится только быть богатым; тут присваивающее хозяйство распадается на средство и цель²⁾. Можно искать добычу ради власти и власть ради добычи. Также и великие правители вроде Гоангти, Тиверия или Фридриха II желают быть „богатыми землею и людьми“, но с сознанием своего аристократического обязательства. С чистою совестью и как нечто само собою разумеющееся иные претендуют на сокровища всего мира; можно вести жизнь, сияющую блеском и даже

¹⁾ Эндершо (Undershaft) в „Major Barbara“ Шоу представляет фигуру настоящего властелина в этом царстве.

²⁾ В качестве средства у правительств оно именуется хозяйством ф-и-а-н-с-о-в-ы-м. Тут вся нация является объектом взимаемых дани в форме податей и пошлин, использование которых предназначено вовсе не для придания больших удобств ее жизненному укладу, но имеет в виду укрепление исторического положения и усиление ее могущества.

расточительную, если только чувствуешь себя носителем известной высокой идеи, вроде того, как это думали о себе Наполеон, Сесиль Родс, а также римский сенат III века, почему по отношению лично к себе едва известно понятие частной собственности.

Те, кто стремится исключительно к хозяйственным выгодам, как, напр., в римские времена карфагеняне, а в настоящее время в еще гораздо большей мере американцы, те не в состоянии мыслить чисто политически. Такие люди при решениях высокой политики всегда будут эксплуатировемы и обмануты, что видно на примере Вильсона, особенно, если недостаток государственного инстинкта заменяется настроениями морального свойства. Поэтому-то большие хозяйственные (экономические) союзы современности, вроде предпринимателей и рабочих, влекут за собою одну политическую неудачу за другою, если они не находят какого-нибудь настоящего политика в качестве своего вождя, который использует их. Мышление хозяйственное и политическое, при высоком тождестве форм, коренным образом различаются друг от друга по своему направлению и тем самым во всех своих тактических частностях. Большие деловые успехи¹⁾ вызывают безграничное чувство общественной власти. Этого подзвука в слове „капитал“ нельзя не заметить. Но лишь у отдельных личностей меняются при этом цвет и направление их хотения и масштаб, ими применяемый к данному положению и факту. Тогда только, когда человек действительно перестает ощущать свое предприятие, как дело частное, и видит его целью простое накопление имущества, возникает возможность превратиться из предпринимателя в государственного деятеля. Так было с Сесилем Родсом. Но—наоборот—для участников политической жизни существует риск, что их хотение и мышление понизятся от истори-

¹⁾ Понимаемые в самом широком смысле слова; сюда относятся также занятия руководящего положения рабочими, журналистами и учеными.

ческих задач до простой заботы о частном своем благополучии.

Впрочем, именно в этом сказывается тайное течение высокой культуры. В самом начале появляются основные сословия, аристократия и жречество с их символической временной и пространственной структурой. Тем самым в благоустроенном обществе политическая жизнь и религиозные переживания получают свои твердо определенные места, своих признанных носителей и свои элементарно намеченные для фактов и истин цели, в глубине же хозяйственная жизнь протекает бессознательно, по точно определенному руслу. Поток бытия приостанавливается в каменной массе города, и с этого момента историческое руководство переходит к деньгам и уму. Героическое и священное с символической мощью своего прежнего бытия становятся явлениями редкими и уходят в тесноограниченные круги. На их место становится холодная буржуазная ясность. В конце концов завершение системы и завершение сделки требуют одного и того же рода специально-профессиональной сметки. Едва еще разделяемые символической градацией, жизнь политическая и хозяйственная, познания религиозное и научное стремятся друг к другу, соприкасаются и смешиваются между собой. Поток жизни в сутолоке больших городов утрачивает свои строгие и богатые формы. На поверхность всплывают элементарные хозяйственные черты и начинают забавляться остатками преисполненной форм политики, причем равным образом суверенная наука одновременно с этим принимает и религию в число своих объектов. Над жизнью хозяйственно-политического самодовольства воцаряется критически-благоговейное миронастроение. Но в конце концов отсюда на место распавшихся сословий вступают отдельные жизненные течения чисто политической и религиозной мощности, которые и становятся судьбою всего в его целом.

Отсюда получается морфология истории хозяйства. Существует общелюдское основное, примитивное хозяйство, которое, подобно аналогичным явлениям

в жизни растения и животного, изменяет свои формы в биологические промежутки времени. Это прахозяйство всецело доминирует над первобытным периодом и развивается среди и внутри высоких культур без определенной правильности, медленно и спутанно. Животные и растения вовлекаются в него и преобразуются чрез приручение, специальную разводку, облагораживание и особый посев; огонь и металлы используются им, а свойства мертвой природы путем технических приемов подчиняются жизненному обиходу. Все это пропитано политически-религиозным характером и значением, без того, чтобы было возможно ясно разграничить тотем и табу, голод, душевный страх, половую любовь, искусство, войну, обряд жертвоприношений, веру и опыт.

Нечто совершенно иное по значению и развитию своим представляет также резко ограниченная в своих темпе и продолжительности история хозяйства в высоких культур, из которых каждая в отдельности обладает своим собственным хозяйственным стилем. К феодально-ленному быту принадлежит хозяйство местностей, лишенных городов. Вместе с государством, управляемым из городов, на сцену выступает городское денежное хозяйство, которое к началу всякой цивилизации-возвышается на степень диктатуры денег, одновременно с победою демократии мировых городов. Каждая культура обладает своим самостоятельно развитым миром форм. Вещественные деньги аполлинического стиля—чеканная монета—настолько-же далеки от фаустовско-динамических относительных денег—бухгалтерской записи кредита—как древнегреческий полис был чужд государству Карла V. Но хозяйственная жизнь, совершенно аналогично общественной, развивается в виде пирамиды. На деревенском основании покоится пласт вполне первобытный, культурою едва тронутый. Позднее городское хозяйство, работа определенного меньшинства, постоянно взирает вниз на более раннее земледельческое хозяйство, которое продолжает вокруг него свою дальнейшую деятельность и недоверчиво, с нена-

вистью взирает на одухотворенный стиль внутри городских ворот. Наконец мировой город вызывает (цивилизованное) мировое хозяйство, излучаемое из совершенно узких кругов немногих центров и подчиняющее себе все остальное в виде хозяйства провинциального, тогда как одновременно с этим сохраняется в отдаленных местностях еще вполне примитивный— „патриархальный“—быт. С ростом городов жизненный уклад становится все искусственное, утонченнее, сложнее. Столичный рабочий времен римских цезарей, рабочий Багдада в эпоху Гаруна аль-Рашида и его нынешний берлинский товарищ считает само собою разумеющимся многое такое, что представляется богатому крестьянину, живущему далеко от города, безумною роскошью; но это само собою разумеющееся не легко достижимо и с трудом может быть удержано; количество рабочих всех культур возрастает в чудовищной мере, а потому, в начале всякой цивилизации, развивается такая интенсивность хозяйственной жизни, которая всегда преувеличенно напряжена, всюду подвержена опасностям и нигде долго не может удержаться. В конце концов отсюда возникает состояние продолжительного оцепенения с странною смесью утонченно одухотворенных и рядом с этим совершенно примитивных черт, какое греки нашли в Египте, а мы находим в современной Индии или Китае, если только состояние это не исчезает вследствие глубоко таящегося напора молодой культуры, как то было с античностью во времена Диоклетиана.

Относительно этого экономического процесса люди формально представляют в такой-же мере хозяйственный класс, в какой они относительно мировой истории составляют политическое сословие. Каждая отдельная личность занимает известное хозяйственное положение внутри экономического деления, совершенно аналогично тому, как она в обществе занимает какое-нибудь положение служебное. Оба рода этой приобщенности одновременно захватывают его чувствования, мышление и отношения. Жизнь хочет существо-

вать, а сверх того иметь также некоторое значение. Спутанность наших понятий наконец усилилась еще вследствие того, что ныне, как и в эллинистическое время, политические партии известным образом обогородили некоторые хозяйственные группы населения, чьи условия жизни они хотели несколько улучшить тем, что возвели их на степень класса политического; так поступил Маркс с классом фабричных рабочих.

Первым и настоящим сословием является аристократия. Отсюда ведут свои начала и офицер, и судья, и все те, которые занимают высшие правительственные и руководящие должности. Это сословные формации, имеющие известное значение. Равным образом сословие ученых ¹⁾ относится к классу жреческому с весьма ярко выраженным характером сословной замкнутости. Но—великая символика заканчивается замком и собором. Третье сословие (*tiers état*) уже представляет не сословие, а остаток, пестрое и многообразное скопление людей, которое, как таковое, имеет мало значения, кроме моментов политического протеста, и которое поэтому, становясь партией, само придает себе известное значение. Человек тогда чувствует не свое „гражданство“, но свой „либерализм“; хотя он и не олицетворяет в своем лице большое дело, он все-таки принадлежит этому делу по своим убеждениям. Вследствие слабости такой общественной формации хозяйственный элемент тем яснее выступает в „буржуазных“ профессиях, гильдиях и союзах. По крайней мере в городах человек в первую голову определяется тем, чем он живет. С хозяйственной точки зрения первое и почти первоначально единственное сословие—крестьянство ²⁾, просто производящий вид жизни,

¹⁾ Включая сюда врачей, которые в древнейшие времена не отделены от жрецов и колдунов.

²⁾ Сюда относятся охотники, пастухи и рыболовы. Кроме того, как доказывает родство древних сказаний и обычаев, существует своеобразное и весьма глубокое отношение к горному делу. Металлы извлекаются из земных недр не иначе, как зерно из земли и дичь из леса. Для рудокопа металлы также нечто живое и растущее.

только и делающий возможным всякую другую ее разновидность. Также и основные древнейшие сословия основывают свой быт в раннее время исключительно на охоте, скотоводстве и земледелии, и даже еще для аристократии и духовенства в более поздние эпохи в этих занятиях представляется единственно считающаяся благородною возможность быть „состоятельными“; этому противопоставляется посредствующая, хищническая форма жизни, торговля ¹⁾, по сравнению с незначительным количеством занимающихся ею обладающая огромною властью и уже рано совершенно необходимая, тонкий паразитизм, вполне непроизводительный и потому чуждый земле, как таковой, и бродячий, „свободный“, но в психологическом отношении не отягощенный обычаями и нравами земли, жизнь, питающаяся от другой жизни. И вот, между ними вырастает третий род хозяйства, именно, обрабатывающая техника в лице бесчисленных ремесл, промыслов и профессий, которые вызывают размышления о свойствах природы и ведут к соответственному творчеству, и которых честь и совесть неразрывно связаны с самим продуктом их деятельности ²⁾. Древнейшими, теряющимися еще в первобытной старине представителями ее и вместе с тем ее основным отражением в массе темных легенд, таинственных обычаев и представлений является корпорация кузнецов, которые, вследствие своего высокомерного отчуждения от крестьянства и распространяющейся вокруг их личностей священной боязни, попеременно переходящей то в уважение, то в презрение, нередко превращаются в настоящие племена особой расы, вроде фалашей в Абиссинии ³⁾.

¹⁾ Начиная первобытным мореплаванием и вплоть до биржевых операций мирового города. Сюда-же относятся все сообщения по рекам, дорогам и путям.

²⁾ Сюда-же относится машинное производство с чисто-западноевропейскими типами изобретателя и инженера, практически же также значительная отрасль современного сельского хозяйства, напр., в Америке.

³⁾ Даже поныне горное дело и металлическая промышленность признаются в известном смысле благороднее химической и электротехниче-

В производящей, обрабатывающей и посреднической хозяйственной жизни существуют, как и во всем, относящемся к политике и жизни, субъекты и объекты руководства, а следовательно целые группы лиц распоряжающихся, решающих, организующих, изобретающих, и рядом с ними таких, на долю которых приходится исключительно исполнение. Разница в положении этих групп может быть резкою или едва ощутимую ¹⁾, дальнейшее повышение невозможным или само собою разумеющимся, характер деятельности почти неизменным, с медленными переходами, или же весьма разнообразным.

Традиция и закон, одаренность и богатство, количество населения, степень культурного развития и экономическое положение определяют эти контрасты, но последние имеются на лицо, притом даны вместе с самою жизнью и неотменимы. Тем не менее в хозяйственном смысле не существует „рабочего класса“, это—выдумка теоретиков, которые имели пред глазами положение фабричных рабочих в Англии, стране промышленной, почти лишенной земледельческого элемента, притом как раз в один из переходных периодов, и затем распространили свою схему на все культуры всех времен, пока это не было возведено политиками на степень средства для образования партий. Фактически существует бесконечное число профессий чисто служебного характера в мастерских и конторах, канцеляриях и на кораблях, на больших дорогах, в шахтах, на лугах и в полях. Этому счетоводству, этой переноске, беготне,

ской. Они считаются наиболее древнею и аристократическою техникою и окружены какими-то пережитками культивной тайны.

¹⁾ Вплоть до крепостной зависимости и рабства, хотя именно рабство, как, напр., на современном Востоке и в древнем Риме у т. наз. *vernae*, экономически представляет ничто иное, как форму названного рабочего договора и в зависимости от этого едва ощутимо. Свободный служащий находится нередко в гораздо более тяжелой зависимости и пользуется меньшим уважением, и формальное право отказа от должности во многих случаях лишено всякого практического значения.

этому стучанию молотком, шитью и надзору достаточно часто не достает того, что придает жизни, помимо ее голого существования, некоторое достоинство и привлекательность, что, напротив, наблюдается в связи с сословными задачами офицера и ученого или личными успехами инженера, управляющего и купца; но между собою все это совершенно несравнимо. Дух и трудность работы, ее производство в деревне или большом городе, об'ем и напряженность дела заставляют батрака, банковского чиновника, кочегара и портняжного подмастерья жить в совершенно различных областях хозяйства, и — повторяю — только позднейшая партийная политика об'единила их путем лозунгов в протестующее целое, чтобы пользоваться их численностью, как массы. Античный раб, напротив, представляет государственно-правовое понятие, которое для политического организма античного полиса величина не существующая, тогда как в экономическом отношении он может быть крестьянином, ремесленником, даже заведующим или крупным негодциантом с огромным состоянием (resulium), с дворцами и виллами и толпой подчиненных, в том числе даже „свободных“. То, чем оч, независимо от этого, еще является в позднеримское время, будет выяснено ниже.

III.

С наступлением каждого раннего периода начинается хозяйственная жизнь, облеченная в прочные формы ¹⁾. Население живет совершенно по-крестьянски в свободной деревне. Переживания города для него не существуют. То, что выделяется из деревни, замка, дворца,

¹⁾ Нам это точно известно о начатках египетских и готических, а относительно Китая и античного мира мы это знаем в общих чертах; что же касается хозяйственной псевдоморфозы культуры арабской, то со времени императора Адриана констатируется процесс перехода высокоцивилизованного античного денежного хозяйства в раннее по времени товарообращение, достигнутое при Диоклетиане; только после этого времени на Востоке наблюдается настоящий магический подъем.

монастыря, храмовой области (церковного участка), представляет не город, но рынок, простое место встречи взаимных крестьянских интересов, рынок, одновременно с тем, само собою понятно, имеющий известное религиозное и политическое значение без того, чтобы могла быть тут речь о какой-то обособленной жизни. Жители хотя бы они были ремесленниками или купцами, воспринимают все по-крестьянски и так или иначе занимаются крестьянским делом.

То, что выделяется жизнью, в которой каждый производит и потребляет, является имуществом; обмен имуществом знаменует всякое раннее общение между людьми, безразлично, поступает ли единичный продукт издалека или же странствует в пределах своей-же деревни и даже усадьбы. Товар—это то, что связано тонкими нитями своего естества, своей души, с жизнью, которая его произвела или в нем нуждается и его потребляет. Крестьянин гонит „свою“ корову на рынок, женщина хранит „свое“ украшение в сундуке. Люди обладают собственностью, имуществом, и самое немецкое слово *Be-sitz* (имущество) ¹⁾ приводит к растительному происхождению собственности, с которою коренным образом сплетено именно то, а не другое существование. Мена является в это время процессом, при котором имущества переходят из одного круга жизни в другой. Они оцениваются жизнью по преходящему, ощущаемому мерилу данного мгновения. Не существует ни понятия ценности, ни общего служащего меркою товара. Золото и монеты также ничто иное, как имущество, коим редкость и несокрушимая прочность придают известную ценность ²⁾.

¹⁾ На русский язык слово *Besitz* (корень *sitzen*, сидеть, иметь оседлость) не может быть переведено выражением, этимологически эквивалентным немецкому термину. Прим. ред.

²⁾ Ни куски меди итальянских гробниц Виллановы ранне-гомеровского периода (*Willers, Geschichte der römischen Kupferprägung*, 18), ни раннекитайские бронзовые монеты в форме женских одеяний (*pu*), секир, колец или ножей (*цень*, *Conradi, China*, p. 504) не представляют деньги, но с достаточною ясностью означают символы имущества; ран-

В ритм и процесс этого оборота имуществ торговец входит лишь в роли посредника ¹⁾.

На рынке присваивающее и производящее хозяйство сталкиваются, но даже в тех местностях, куда пристают флотилии и прибывают караваны, торговля развивается лишь, как орган сухопутных сношений ²⁾. „Вечная“ форма хозяйства доньше еще воплощается в совершенно первобытной фигуре странствующего торговца-разносчика в местностях, бедных городами, и даже в отдаленных улицах предместий, где образуются небольшие круги их деятельности, обхода, и в частном быту ученых, чиновников и вообще таких лиц, которые не входят действительными членами в организм хозяйственной жизни больших городов.

Совершенно новый род жизни пробуждается вместе с душою города. Как только рынок становится городом,

ним образом и те монеты, которые чеканили правительства раннеготического времени, в подражание античным, как знаки суверенитета, входят в хозяйственную жизнь исключительно в роли имущества: кусок золота имеет ту-же ценность, что и корова, но не оборот.

¹⁾ Поэтому-то он столь часто исходит не из прочно замкнутой и себе сельской среды, но представляется последней чужим, к которому все равнодушно и относятся без предвзятого мнения. Такова роль финикийцев в раннюю эпоху античности, римлян на Востоке во времена Митридата, евреев, а также византийцев, персов, армян на готическом западе, арабов в Судане, индусов в Восточной Африке и западно-европейцев в нынешней России.

²⁾ Оттого-то в весьма незначительной степени. В виду того, что иноземная торговля в те времена была полна приключений и завладевала фантазиею, ее обычно чрезмерно переоценивают. „Крупные“ купцы Венеции и Ганзы около 1300 г. едва равнялись с более видными ремесленниками. Обороты даже Медичи и Фуггеров к 1400 году соответствовали приблизительно оборотам обычной торговой фирмы в современном небольшом городе. Крупнейшие торговые корабли, обычно принадлежавшие совместно целой группе купцов, далеко уступали современным речным баркам и за год, вероятно, совершали не свыше одного более значительного плавания. Знаменитый вывоз английской шерсти, главный предмет ганзейской торговли, около 1270 г. обнимал ежегодно едва груз двух нынешних товарных поездов (Sommer, *Der moderne Kapitalismus*, I, p. 280 sqq).

нет более простых точек притяжения имущественного потока, протекающего по чисто-крестьянской местности, но возникает второй мир внутри стен, мир, для которого просто производящая жизнь „во вне“ является ничем иным, как только средством и объектом, из которого начинает курсировать другой поток. Решающим здесь моментом является следующее обстоятельство: настоящий горожанин не продуктивен в первоначально земледельческом смысле. Ему недостает внутренней тесной связи с почвою и имуществом, проходящим чрез его руки. Он не живет совместно с ними одною жизнью, но глядит на них извне и только с точки зрения своего собственного пропитания.

Таким образом имущество превращается в товар, мена в оборот, и на место мышления имуществом становится мышление деньгами.

Тем самым нечто чисто протяженное, форма ограничения, абстрагируется от видимых хозяйственных продуктов, совершенно аналогично тому, как математическое мышление нечто абстрагирует от механически воспринимаемого окружающего мира; отвлеченное понятие „деньги“ вполне соответствует отвлеченному понятию „число“. И то, и другое совершенно неорганичны. Хозяйственная картина сводится исключительно к количественным отношениям без всякого касательства качества, которое именно и представляет существенный признак имущества. Для первобытного крестьянина „его“ корова является в первую голову именно этим единичным существом, а уже на втором плане предметом обмена; для хозяйственного взора настоящего горожанина случайно усмотренная корова представляет только отвлеченную денежную ценность, и корова эта в любое время представляется могущею быть превращенною в банкнот. Равным образом настоящий техник усматривает в знаменитом водопаде не единственный в своем роде феномен природы, но голое количество неиспользованной энергии.

Ошибка всех современных теорий денег то, что они исходят из знаков стоимости или даже из материала

платежных средств, вместо того, чтобы исходить из формы хозяйственного мышления ¹⁾). Между тем деньги, наравне с числом и правом, представляют категорию мышления. Существует мышление денежное, как существуют мышления юридическое, математическое, техническое об окружающей среде. От представления о денежном абстрагируется все возможно разнородное, в зависимости от того, смотреть ли на дом, как торговец, судья или инженер, и оценивать его с точки зрения этих лиц, т. е. относительно его доходности, связанного с ним юридического спора или относительно опасности обвала. В мышлении ближе всего мышление деньгами стоит к мышлению математическому. Думать коммерчески значит считать. Денежная ценность представляет числовую ценность, которая измеряется единицей счисления ¹⁾). Эту точную „ценность в себе“, как и число в себе, вызвало к жизни лишь мышление горожанина, беспочвенного человека. Для крестьянина существуют только преходящие, чувствуемые ценности, имеющие непосредственное к нему отношение, и он считается с ними при мене в каждом отдельном случае. Чего ему не надо, или чего он иметь не желает, то для него не имеет „никакой цены“. Лишь в хозяйственном представлении настоящего горожанина существуют об'ективные ценности и виды ценностей, которые, в качестве элементов мышления, существуют независимо от его личной потребности и по идее своей общеобязательны, хотя в действительности каждый отдельный горожанин имеет свою собственную систему оценки и собственный запас различнейших видов цен-

¹⁾ Марка и доллар в такой-же степени не „деньги“, как метр и грамм—не силы. Монеты — вещественные ценности. Лишь от того, что мы не знали античной физики, мы не смешали тяжести с гирею, как мы это сделали, и по сей день еще делаем, на основании античной математики, с числом и величиною и, вследствие подражания античным монетам, с нашими деньгами и монетами.

²⁾ Поэтому, наоборот, метрическую систему можно было бы назвать также валютою; действительно, все денежные меры исходят из чисто физических весовых положений.

ностей и, уже исходя от них, ощущает положенные оценки рынка (цены) дорогими или дешевыми ¹⁾.

В то время, как человек ранней эпохи сравнивает имущество, притом не только в одном уме своем, позднейший исчисляет ценность товара, притом на основании неподвижной бескачественной меры. Теперь уже не оценивают золото по корове, но корову деньгами, и выражают результат в виде отвлеченного числа, цены. Находит ли эта мера оценки, и в какой степени, символическое свое выражение в знаке ценности (подобно тому, как написанный, произнесенный, воображаемый знак числа, цифра, является символом известного рода чисел), это зависит от хозяйственного стиля отдельных культур, которые каждый раз создают другой род денег. Этот род денег существует только благодаря наличности городского населения, которое им мыслит хозяйственно, и далее он определяет, служит ли символическое изображение ценности одновременно также платежным средством, как то было с античными монетами из благородного металла и, быть может, с вавилонскими серебряными гирями. Напротив, египетский дебен, отвечаемая по фунтам чистая медь, представляет меру меновую, не будучи ни знаком, ни платежным средством, западно-европейская и „одновременная“ с нею китайская кредитная бумажка ²⁾—средство, но не мера, а относительно той роли, которую играют монеты из благородного металла в хозяйстве нашего типа, мы обычно

¹⁾ Равным образом все теории ценности, хотя они и должны быть объективны, развиты из субъективного принципа, да иначе и быть не может. Теория, напр., Маркса, определяет ценность такую, какую требуют интересы рабочего, так что работа изобретателя и организатора представляется цены не имеющей. Но было бы неправильно назвать эту теорию ошибочной. Все эти теории правильны для своих приверженцев и ошибочны для противников, а в том, станешь ли приверженцем или противником, последнее решение принадлежит не доводам, а жизни.

²⁾ Первые были в очень скромных размерах введены с конца 18-го века в обращение английским банком, последние—во времена борьбы государств.

венно сильно заблуждаемся: эти монеты—изготовленный в подражание античному обычаю товар, почему они, будучи измеряемы по ценности кредитных бумажек, имеют курс.

На основании такого рода мышления, связанное с жизнью и почвою владение становится состоянием, которое по существу своему движимо и качественно неопределенно: оно состоит не в имуществвах, но „находит свое приложение“ в таковых. Рассматриваемое само по себе, это—чисто числовое количество денежной ценности¹⁾.

Центр такого мышления, город превращается в денежный рынок крупным сосредоточием ценностей, и поток денежных ценностей начинает пронизывать поток имущественный, одухотворять его и властвовать над ним. Но тем самым торговец возвышается из положения органа хозяйственной жизни на степень господина ее. Мышление деньгами представляет всегда так или иначе купеческое, „делочное“ мышление. Оно предполагает производящее хозяйство деревни, почему в первую голову всегда носит захватный характер, ибо третьего не существует. Термины заработок, прибыль, спекуляция указывают на выгоду, которую обманным путем извлекают из предметов, направляющихся к потребителю, указывают на интеллектуальную добычу, почему они и не применимы к крестьянству более ранней эпохи. Следует всецело стать на точку зрения настоящего горожанина. Он работает не для удовлетворения потребности, но на продажу, „за деньги“. Коммерческое мироощущение постепенно проникает во все виды деятельности. Будучи внутренне связан с движением имуществ, сельский житель был одновременно поставщиком и потребителем; из этого нарядли представлял исключение и торговец на древнем, раннем рынке. С денежным обращением появляется

¹⁾ Это—„величина“ состояния, которую сравните с „объемом“ имущественного владения.

между производителем и потребителем, как бы между двумя совершенно отдельными мирами, тот „третий“, чье мышление вскоре затем начинает доминировать над деловой жизнью. Он принуждает первого к предложению, второго к спросу; он возносит посредничество на положение монополии и затем главного момента в хозяйственной жизни и принуждает обоих других в его собственном интересе оставаться в прежнем положении, изготовлять товар согласно его расчету и брать его под давлением его предложений.

Кто владеет этим мышлением, тот мастер в деньгах ¹⁾. Во всех культурах развитие идет этим путем. Лисий в своей речи против торговцев зерном устанавливает, что спекулянты в Пирее иногда распространяли слух о крушении флотилии с хлебом или о возникновении какой-нибудь войны с целью вызвать этим панику. В эллинистически-римскую эпоху был распространен обычай сокращать по взаимному соглашению засеив или приостанавливать ввоз, чтобы достигнуть повышения цен. В Египте совершенно аналогичная западно-европейскому банковскому делу кредитная практика Нового Царства ²⁾ делала возможной организацию ссыпки зерна в американском стиле. Клеомен, поставленный Александром Великим во главе финансового управления Египта, имел возможность путем кредитных закупок сосредоточивать в своих руках весь запас зерна целиком, что вызвало во всей Греции сильный голод и дало ему огромные прибыли. Кто экономически мыслит иначе, низводится тем самым на положение простого объекта денежных перипетий больших городов. Этот стиль вскоре овладевает вниманием всего городского населения и вместе с тем всех тех лиц, которых приходится принимать серьезно

¹⁾ Вплоть до современных пиратов денежного рынка, посредствующих в посредничестве и играющих товаром, именующимся „деньгами“, как это описал Золя в своем знаменитом романе.

²⁾ Preisigke, Girowesen im griechischen Aegypten (1910); формы тогдашних сношений еще во времена XVIII династии находились на такой-же высоте.

в расчет в направлении истории хозяйства. Понятия крестьянина и горожанина определяют не одно только противопоставление деревни городу, но и различие между имуществом и деньгами. Блестящая культура гомеровских и провансальских княжеских дворов есть нечто выросшее и сросшееся с человеком, подобно тому, как мы иногда еще в настоящее время наблюдаем это в быте усадеб старинных семейств; более утонченная культура буржуазии, „комфорт“, представляет нечто извне входящее, могущее быть оплаченным ¹⁾). Всякое высоко развитое хозяйство сводится к городскому хозяйству. Мировое же хозяйство, хозяйство всех цивилизаций, следовало бы называть хозяйством крупных мировых городских центров. Судьбы между прочим и мирового хозяйства решаются пока лишь в немногих пунктах, пунктах денежных ²⁾, напр., в Вавилоне, Фивах, Риме, Византии и Багдаде, в Лондоне, Нью-Йорке, Берлине и Париже. Все остальное представляется хозяйством провинциальным, скупо обнимающим мелкие круги и нисколько не осознающим полного об'ема своей зависимости. Деньги, в конце-концов, являются формой той энергии, в которой сосредоточиваются воля к власти, политическая, социальная, техническая и умственная сила творчества, стремление к жизни в большом масштабе. „Всеобщее уважение к деньгам — единственный преисполненный надежд факт в нашей цивилизации... Деньги и жизнь неотделимы друг от друга... Деньги это и есть жизнь“ — говорит Шоу — и совершенно прав ³⁾). Итак, цивилизация означает такую ступень культуры, на которой традиция и личность утратили свое непо-

¹⁾ Не иначе. обстоит дело и с гражданским идеалом свободы. В теории и, следовательно, также в конституциях свобода провозглашается принципиально. В фактической, частной городской жизни независимость приобретает только за деньги.

²⁾ Их и в прочих культурах можно назвать биржевыми центрами, если понимать под биржею мыслительный орган законченного денежного хозяйства.

³⁾ Предисловие к „Major Barbara“.

средственное значение, и где всякую идею приходится в первую голову мысленно переводить на деньги, чтобы иметь возможность ее осуществления. В начале имели имущество, потому что обладали могуществом. Теперь могущество определяется деньгами. Только деньги возносят ум на престол. Демократия представляет законченное уравнение денег с политической властью.

История хозяйства каждой культуры проникнута отчаянной борьбой, которую ведет с духом денег ее душа, коренящаяся в земле традиция всякой расы. Крестьянские войны в начале каждого более позднего периода истории—в античности в 700—500-х годах, у нас (в Германии) в промежуток от 1450 до 1650-го года, в Египте в исходе Древнего Царства—представляют первый протест крови против денег, которые со стороны усиливающихся городов протягивают свои руки к земле. Предупреждение барона фон-Штейна—„Кто мобилизует землю, превращает ее в пыль“—указывает на опасность, присущую каждой культуре; если деньги не могут захватить самое земельное имущество, то они проникают в самое крестьянское и дворянское мышление; унаследованное, тесно сросшееся с родом имущество представляется в форме состояния, только вложенного в землю, но само по себе движимого¹⁾. Деньги стремятся к мобилизации в сего. Мировое хозяйство есть превратившееся в факт хозяйство с отлеченными, мыслимыми совершенно удаленными от земли, текучими ценностями.²⁾

¹⁾ „Фермер“ это—такое лицо, которое связывают с участком земли исключительно практические отношения.

²⁾ Растущая интенсивность этого мышления представляется в картине хозяйства в форме роста имеющейся в наличности денежной массы, которая, будучи чем-то совершенно отвлеченным и выдуманым, не имеет решительно ничего общего с наличным конкретным запасом золота, как товара. „Перегрузка денежного рынка“, напр., есть процесс чисто теоретический, происходящий в головах весьма ничтожного количества людей. Растущая энергия денежного мышления вызывает поэтому во всех культурах ощущение, будто „ценность денег падает“, в сильнейшей степени, напр., в период от Солона до Александра Великого, именно по отношению к единице

Античное денежное мышление превратило от дней Ганибалла целые города в монету, целые народности в рабов и тем самым в деньги, которые со всех сторон текут в Рим, чтобы там выявить себя силою.

Фаустовское денежное мышление „раскрывает“ целые материи, водные силы исполинских речных бассейнов, мускульную силу населения обширных пространств, залежи угля, девственные леса, законы природы, превращая их в финансовую энергию, которая находит где-то применение в форме печати, выборов, бюджетов и армий, для осуществления планов правителей. Все новые и новые ценности извлекаются из коммерчески еще безразличного состояния мира, эти „дремлющие духи золота“, как называет их Джон-Габриэль Боркман; то, что, кроме того, независимо от этого, представляют из себя вещи, в хозяйственном отношении не принимается во внимание.

IV.

Каждой культуре свойственны, как собственная манера мыслить деньгами, так и собственный символ денег, при помощи которого она конкретно выявляет в сфере хозяйства свой принцип оценки. Это нечто, воплощение мысли, вполне равно по значению произнесенным для слуха и написанным, нарисованным для глаза цифрам, фи-

счисления. На деле же коммерческие единицы оценки стали чем-то искусственным, вовсе более не сравнимым с фактически пережитыми основными ценностями крестьянского хозяйства. В конце концов безразлично, какими числами счет ведется в аттической союзн и казне на Делосе (454), при заключении мирных договоров с карфагенянами (241, 201) и затем при подсчете добычи Помпея (64), и не перейдем ли мы чрез несколько десятилетий от вполне привычных еще около 1850 года и ныне нам миллиардов к биллионам. Нет никакого масштаба для сравнения, напр., стоимости таланта в 430-м и 30-м годах, потому что золото, равно как скот и зерно, неоднократно и последовательно меняли не только цифровую ценность, но и свое значение в пределах прогрессирующего городского хозяйства. Налицо остается только тот факт, что денежная масса, которую не следует смешивать с наличностью денежных знаков и платежных средств, является alter ego (другим я) мышления.

гурам и прочим символическим знакам в математике, представляя обширную и богатую область, остающуюся пока еще почти не исследованною. До сих пор даже основные вопросы были поставлены неправильно. Поэтому еще поныне совершенно невозможно окончательно выяснить ту идею денег, которая лежала в основе египетского натурального и денежно-кредитного обращения или была свойственна вавилонскому банковскому делу, китайской бухгалтерии и капитализму евреев, персов, греков, арабов со времен Гарун аль-Рашида. Возможно лишь одно противопоставление денег аполлинических и фаустовских, денег как величины и денег как функции.

Античному человеку и в хозяйственном смысле окружающий его мир представлялся совокупностью тел, меняющих свое место, странствующих, теснящихся, толкающих и уничтожающих друг друга, как Демокрит описывает нечто подобное в природе. Человек есть тело среди тел. Как сумма их, полис является телом высшего порядка. Вся жизненная потребность состоит из телесных величин. Следовательно, и деньги представляют тело, аналогично тому, как статуя Аполлона представляет божество. Около 650 года, одновременно с телом каменного дорийского храма и всесторонне свободно проработанной статуи, возникла и монета, металлическая гиря красиво отчеканенной формы. Ценность как величина существовала давно и столь же древня, как и вообще вся эта культура. У Гомера под талантом подразумевается некоторое небольшое количество золотых сосудов и украшений, имеющее определенный общий вес. На щите Ахилла изображено „два таланта“, и еще в римские времена определение веса на серебряных и золотых сосудах было общераспространенным явлением¹⁾.

Изобретение же классически оформленного денежного знака настолько чрезвычайно, что мы еще вовсе не поняли его глубокого, чисто античного значения. Мы считаем его за одно из знаменитых „достижений челове-

¹⁾ Friedländer, Röm. Sittengesch., IV (1921), S. 301.

ства". С тех пор монеты чеканятся повсюду, так же, как везде на улицах и площадях стоят статуи. До этого распространяется наша власть. Мы можем подражать форме, но не в состоянии придать последней одинаковое хозяйственное значение. Монета, как деньги, явление чисто античное, возможное в среде, мыслимой лишь совершенно по-евклидовски; но здесь оно овладело и оформило всю хозяйственную жизнь в ее целом. Понятия вроде дохода, состояния, долга, капитала, означают в античных городах нечто совершенно иное, чем у нас, потому что под этим разумеется не излучаемая одною точкою хозяйственная энергия, но совокупность ценных предметов, находящихся в одних руках. Состояние — всегда движимый запас наличности, который путем сложения или вычитания ценных предметов изменяется и не имеет никакого дела до владения землею. Оба в сфере античного мышления совершенно раздельны. Кредит состоит в одалживании чистых денег в ожидании, что таковые будут возвращены в той-же самой форме. Катилина был беден, так как, несмотря на крупные свои имения¹⁾, не находил никого, кто бы доверил ему наличные деньги, для политических целей, и огромные долги римских политиков были сделаны отнюдь не на основе соответствующего земельного имущества, но с определенным расчетом на такую провинцию, коей движимые конкретные ценности могли бы быть расхищены²⁾. Лишь

¹⁾ Саллюстий, Катилина, 35, 3.

²⁾ Насколько трудно было античному человеку представить себе перевод телесно не вполне ограниченного предмета, вроде земли, на реальные денежные знаки, показывают каменные столбы (погои) на греческих земельных участках; эти столбы должны были изображать заклад; то-же самое можно сказать о римском обычае покупки *per aes et libram*, причем в обмен на монету в присутствии свидетелей вручалась глыба земли. Вследствие этого настоящей торговли недвижимостью никогда не существовало равно как не существовало ничего похожего на курс дня на пахотную землю. Равномерное соотношение между ценностью земли и стоимостью денег в такой-же мере невозможно в области античного мышления, как взаимоотношение между стоимостью искусства и ценою денег. Произведения духа, т. е. невестественные, вроде драм или фресок, с хозяйственной точки зрения

мышление конкретными деньгами как телами делает понятным ряд явлений: массовые казни богачей во времена второй тирании и римские проскрипции в целях присвоения более значительной массы находившихся в обращении наличных денежных знаков, превращение дельфийских храмовых сокровищ фокейцами в сплав во время Священной войны, такое-же обращение с предметами искусства у Муммия в Коринфе, с последними римскими посвятельными дарами у Цезаря, с греческими у Суллы, с мало-азиатскими у Брута и Кассия, при полном пренебрежении к их художественной ценности, только потому, что была нужда в благородном материале, металлах и слоновой кости¹⁾. Те статуи и сосуды, которые фигурировали в триумфах, представляли в глазах зрителей чистые деньги, и Моммзену была дана возможность сделать попытку²⁾ определить место, где произошло поражение Вара, на основании нумизматических находок, потому что римские ветераны носили при себе все свое имущество в форме благородных металлов. Античное богатство не кредит, но имеет вид массы денег; античное сосредоточение денег вовсе не кредитный центр, каковыми являются современные биржи и египетский Фивы, но город, в котором скопилась значительная часть наличных денег всего мира. Можно думать, что во времена Цезаря много больше половины всего золота античности всегда находилось в городе Рима.

Когда этот мир вступил в период безусловного доминирования денег, примерно со времен Ганнибала,

вообще не представляли никакой ценности. О правовом взгляде античности на эти вопросы см. стр. 96 II тома (немецк. изд.).

¹⁾ Уже во времена Августа от произведений античного искусства из благородных металлов и бронзы навряд ли многое сохранилось. Даже образованный афинянин мыслил слишком неисторично, чтобы пощадить статую из золота и слоновой кости только оттого, что она была произведением Фидия. Вспомним, что золотые части знаменитой статуи Афины последнего могли быть снимаемы и через известные промежутки времени подвергались взвешиванию. Итак, хозяйственное использование имело тут в виду с самого начала,

²⁾ Ges. Schr. IV, 200 ff.

естественно ограниченное количество благородного металла и материально ценных произведений искусства в пределах римского владычества оказалось далеко недостаточным, чтобы покрыть потребность в наличных средствах; возникла настоящая лихорадочная жажда к новым предметам, могущим служить деньгами. При этом взор упал на раба, который был разновидностью тела, но не личностью, а вещью, и потому мог быть мыслим, как деньги. Лишь с тех пор античный раб становится чем-то совершенно своеобразным во всей истории хозяйственного быта. Свойства монеты распространились на живые объекты, и этим самым, рядом с металлическою наличностью в хозяйственно „раскрытых“ грабежами наместников и откупщиков податей областях, становится наличность их населения. Развивается причудливый вид двойной стоимости. Раб и цена на него подвержены курсу, что было неприменимо к земле. Он служит для накопления огромных состояний в виде наличности, и следствием этого являются в римские времена те огромные массы рабов, которые совершенно необъяснимы на основании какой-нибудь иной потребности. Пока держали лишь столько рабов, сколько их было нужно, число их было ничтожно и легко пополнялось из среды военнопленных и тех, кто оказывался связанным долгами ¹⁾).

Только в шестом веке Хиос положил начало ввозу купленных рабов (аргирионетов). Их разница с гораздо более многочисленными наемными рабочими в первую голову носила политически-правовой, а не хозяйственный характер. Так как античное хозяйство статично, а не динамично, и не знает планомерного раскрытия источников энергии, то рабы римского времени существовали не для того, чтобы их эксплуатировали, а их занимали, поскольку это было возможно, чтобы держать их воз-

¹⁾ Представление, будто рабы даже в Афинах или Эгине когда-то составляли хотя бы одну треть населения, совершенно ни на чем не основано. Революции, начиная с 400 года, наоборот, заставляют предполагать о значительном численном превосходстве свободно-рожденных бедняков,

можно большее число. Предпочтение отдавалось особенно блестящим рабам, умевшим что-нибудь делать, так как, при равном с другими содержании, они представляли более значительную ценность; их сдавали в наймы, как отдавали в долг чистые деньги; их заставляли пускаться за их собственный счет, в предприятия, так что они могли разбогатеть; при помощи их обесценивали свободный труд, и все это делалось с тою только целью, чтобы по крайней мере покрыть расходы по содержанию этого капитала ¹⁾. Большинство не могло быть вовсе целиком использовано. Они исполняли свое назначение уже тем, что были на-лицо, как денежный запас, который был под рукою и величина которого вовсе не была связана с естественными пределами имевшихся тогда запасов золота. Конечно, благодаря этому спрос на рабов достиг беспредельных размеров и привел после войн, предпринятых исключительно ради добычи рабов, к охотам на рабов, устраиваемым частными предпринимателями вдоль всех средиземноморских побережий и терпимым со стороны Рима, а также к новому способу составлять себе состояние, именно к занятию должности наместника, в которой высасывались все соки из населения целых областей, причем это население затем продавалось за долги в неволю. Говорят, что на делосском рынке за один день было продано десять тысяч рабов. Когда Цезарь отправился в Британию, разочарование в Риме по поводу бедности жителей Британии золотом было возмещено перспективою на обильную добычу рабов. Для античного мышления не было разницы, когда, напр., при разрушении Коринфа статуи были превращены в монеты, а жители

¹⁾ Тут—противоположность невольничеству негров в наше время, представляющему предварительную ступень к машинной промышленности: организации „живой“ энергии, при которой от человека перешли наконец к углю, причем первое тогда только признали безнравственным, когда второе уже получило право гражданства. С этой точки зрения победа северян в Американской гражданской войне (1865) знаменует хозяйственную победу концентрированной энергии угольной над обыкновенною мускульною энергиею.

доставлены на невольничий рынок: в обоих случаях были превращены в деньги конкретные предметы.

Крайнею этому противоположностью является символ фаустовских денег, денег как функции, как силы, ценность которых заключается в их влиянии, а вовсе не только в их простом существовании. Новый стиль этого хозяйственного мышления выражается уже в том способе, каким около 1000 года норманны организовали свою добычу, в виде земель и людей, в хозяйственную силу ¹⁾. Достаточно сравнить чистую бухгалтерскую оценку в счетоводстве их герцогов, откуда и происходят термины чек, конто (счет) и контроль ²⁾, с одновременными „талантами золота“ Илиады, и мы с самого начала получим понятие современного кредита, проистекающего из доверия к силе и продолжительности ведения хозяйства и почти идентичного с идеею наших денег. Этот перенесенный Рожером II на сицилийско-норманнскую державу финансовый метод Гогенштауфен Фридрих II разработал около 1230 года в мощную систему, которая по своей динамике далеко оставила за собою свой прообраз и сделала его „первою капитальною силою в мире“ ³⁾. И в то время, как это братское объединение математической мысли и королевской мощной воли проникло из Нормандии во Францию и в 1066 году было применено в грандиозном масштабе к завоеванной Англии (почва Англии и поныне еще является номинально королевскою доменею), ему в Сицилии стали подражать итальянские городские республики, правящие патриция которых вскоре перенесли его из общинного хозяйства в свои собственные торговые книги

¹⁾ Родство с египетскою администрациею времен Древнего Царства и китайского раннего периода Джоу неоспоримо.

²⁾ Т. наз. *clerici* в этих счетных отделах являются прототипами современных банковских служащих-чиновников.

³⁾ Hамре, *Deutsche Kaisergeschichte*, S. 246. Леонардо Пизано, чей *Liber Abaci* (1202) еще долго после Ренессанса был нормою для коммерческой арифметики и который, кроме системы арабских цифр, ввел также для обозначения долга отрицательные числа, пользовался подержкою великого Гогенштауфена.

и тем самым в коммерческое мышление и счетоводство всего западно-европейского мира. Немного позже сицилийская практика была перенята также немецким рыцарским орденом и арагонскою династиею, к чему, быть может, следует отнести образцовое счетоводство Испании при Филиппе II и Пруссии при Фридрихе-Вильгельме I.¹⁾

Решающим же стало „одновременно“ с изобретением античной монеты, около 650 года, изобретение фра Лукою Пачиоли (1494) двойной бухгалтерии. „Это одно из прекраснейших изобретений ума человеческого“—сказано в „Вильгельме Мейстере“ Гете. И действительно, ее творец может без страха стать рядом со своими современниками—Колумбом и Коперником. Норманнам обязаны мы контокоррентным счетом, ломбардцам бухгалтериею. Это два германских племени, которые создали оба наиболее обещающие правовые творения ранней готики, и от тоски которых по отдаленным морям получили оба открытия Америки свой первый импульс. „Двойная бухгалтерия рождена тем-же умом, что и системы Галилея и Ньютона... Теми-же средствами, что и последние, она приводит факты в искусную систему, и ее можно определить, как первый космос, построенный на принципе механического мышления. Двойная бухгалтерия раскрывает нам космос хозяйственного мира по тому-же методу, по какому позже великие естествоиспытатели раскрыли космос звездного мира... Двойная бухгалтерия базируется на последовательно проведенной основной мысли о том, чтобы понимать все явления лишь как количества“¹⁾.

Двойная бухгалтерия—чистый анализ мирового пространства, распространенный на систему координат, исходною точкою которых является „фирма“. Античная монета допускала только арифметический счет величинами ценности. Тут опять встречаются Пифагор с Декартом. Можно говорить об интеграции какого-нибудь предприя-

¹⁾ Sombart, *Der moderne Kapitalismus*, S. 119.

тия, и в хозяйстве, как и в науке, графическая кривая является одинаковым оптическим пособием. Мир античного хозяйства расчленяется, как и вселенная Демокрита, на материю и форму. Материя в виде монеты является носительницей хозяйственного движения и направляет предметы потребления одинаковой ценности к месту их потребления. Мир нашего хозяйства расчленяется на силу и массу. Могучее поле денежных напряжений пространственно и придает каждому объекту, независимо от его особого индивидуального характера, положительную или отрицательную ценность влияния ¹⁾, отмечаемого записью в бухгалтерской книге. „Quod non est in libris, non est in mundo“—„чего нет в книгах, того не существует в мире“. Но символом мыслимых тут функциональных денег, то, что только и может быть сравниваемо с античной монетой, служат не самая отметка в книгах, а также не вексель, чек или банкнот, но тот умственный акт, помощью которого функция завершается в письменном виде и коего простым историческим подтверждением должна считаться ценная бумага в самом широком значении.

Но рядом с этим Запад, оцепенело преклоняясь пред античностью, чеканил монеты, притом не только как знаки державной власти, но и в убеждении, что это неоспоримо деньги, фактически соответствующие хозяйственной идеологии. Совершенно аналогично еще в готический период было перенято римское право с его уравнением вещи и конкретной величины, равно как евклидова математика, построенная на понятии числа как величины. Таким образом случилось, что развитие этих трех областей умственных форм произошло не как эволюция фаустов-

¹⁾ Тесно и родственно связан с нашим изображением сущности электричества процесс т. наз. банковского *clearing*^a, при котором положительное или отрицательное денежное положение нескольких фирм (центров растяжения) взаимно выравнивается при помощи акта чистого мышления, и действительное состояние выражается бухгалтерскою записью.

ской музыки в чистом расцвете, но в виде прогрессивного освобождения себя от понятия величины. Уже к концу эпохи стиля Барокко математика достигла своих целей. Наука о праве донныне еще даже не осознала своей настоящей задачи. Дело в том, что она требует (для римского юриста само собою понятного) совпадения хозяйственного мышления с мышлением правовым и одинаково хорошей осведомленности в том и другом. Символизированное в монете понятие денег вполне покрывается смыслом античного вещного права; для нас же это ни в какой мере не так. Вся наша жизнь построена по принципу динамическому, а не статическому и стоическому; поэтому существенными являются силы, их проявления, отношения, способности (организаторский талант, дух изобретательности, кредит, идеи, методы, источники энергии), а вовсе не голый факт наличия конкретных предметов. Поэтому „римское“ вещное мышление наших юристов настолько же чуждо действительной жизни, как теория денег, сознательно или бессознательно исходящая от монеты. Огромная наличность монет, которая, в подражание античности, вплоть до начала мировой войны постоянно увеличивалась, создала себе, правда, роль в стороне от главного пути, но с внутреннею формою современного хозяйства, его задачами и целями у нее нет ничего общего; еслибы вследствие войны запас этот окончательно исчез из обращения, то от этого ничего бы не изменилось¹⁾.

¹⁾ Кредит страны в нашей культуре основывается на хозяйственной продуктивности и политической организации ее, придающей финансовым операциям и бухгалтерским приемам характер настоящих денежных фактов, а не базирует на где-то собранном воедино количестве золота. Только увлекающееся античностью суеверие поднимает золотой запас на степень кредитного масштаба, потому что объем этого запаса зависит уже не от хотения, а от умения. Между тем находящиеся в обращении монеты представляют товар, который имеет свой курс сообразно с кредитом своей страны—чем ниже кредит, тем выше стоит золото, вплоть до того момента, когда оно становится неоплатным и исчезает из обращения, так что его возможно получить только в обмен на другие товары; следовательно, как всякий товар, золото и его

К несчастью, современная политическая экономия возникла в период классицизма, когда единственно истинными произведениями искусства считались не только статуи, вазы и довольно безжизненные драмы, но и красиво отчеканенные монеты признавались единственно настоящими деньгами. То, к чему стремился с 1778 года Веджвуд своими нежными рельефами и чашками, того именно как раз тогда достиг в сущности Адам Смит со своею теориею ценностей: чистой наличности осязательных величин; вполне ведь возможно заменить деньгами монеты, если ценность вещи измеряется количеством потраченного на нее труда.

„Работа“ здесь уже более не является процессом внутри комплекса других процессов, работою, которая по своему внутреннему достоинству, интенсивности и значению бесконечно разнообразна, продолжая влиять на все более широкие круги, и может быть измеряема, но не ограничиваема, подобно сфере применения электричества, а служит совершенно материально представляющимся ее результатом, тем, что сработано, чем-то осязательным, в чем нет ничего заметного и достойного внимания, кроме именно его объема.

Между тем хозяйство европейско-американской цивилизации, в полную этому противоположность, строится на труде, который характеризуется исключительно своим внутренним достоинством, более, чем когда бы то ни было в Китае и Египте, не говоря уже об античном мире. Недаром мы живем в мире хозяйственной динамики: работа отдельных лиц слагается не по-евклидовски, но находится

стоимость измеряются согласно бухгалтерской счетной единице, но не наоборот, что и обозначается термином „курс“ золота, а при мелких платежах служит платежным средством, как мы это видим иногда на примере почтовых марок. В Египте, финансовая идеология которого изумительно схожа с западно-европейскою, даже в период Нового Царства не существовало ничего сколько-нибудь похожего на монету. Письменный аккредитив вполне был достаточен, и, начиная с 650 г. вплоть до эллинизации благодаря основанию Александрии, доставляемые в страну монеты обыкновенно разрубались и, как товар, принимались в расчет по весу.

во взаимном функциональном соотношении. Только производящий труд, с которым одним считается Маркс, представляет ничто иное, как функцию изобретающей, распорядительной, организующей работы; он только и осмысливает другой труд, придает ему относительную ценность и дает возможность вообще быть сделанным. Все мировое хозяйство со времени изобретения паровой машины—творение весьма небольшого числа выдающихся умов, без высоко ценной работы которых не существовало бы всего прочего, но эта работа представляется творческим мышлением, но не „количеством“¹⁾, и ее соответствие состоит, следовательно, вовсе не в известном количестве монет, но представляет самые деньги, именно деньги фаустовского типа, деньги не чеканенные, но мыслимые в виде центра влияния из жизни, коей внутреннее достоинство возносит мысль на многозначительную степень факта. Мышление деньгами создает деньги—в этом тайна мирового хозяйства. Если организатор крупного стиля заносит на бумагу один миллион, то этот миллион существует, потому что личность пишущего, как хозяйственного центра, гарантирует соответственное повышение хозяйственной энергии его области. Вот это, а не что иное, означает для нас термин кредит. Но не хватило бы всех монет в мире для придания деятельности фабричного рабочего особого смысла и тем самым денежной ценности, если бы помощью знаменитой „экспроприации экспроприаторов“ были устранены выдающиеся способности из сферы их творений, а последние тем самым превратились бы в нечто бездушное, безвольное, в пустые вместилища. В этом Маркс является последователем классицизма наравне с Адамом Смитом и настоящим продуктом римского правового мышления.

Он видит только готовую величину, а не функцию. Ему хочется отделить средства производства от тех лиц, ум которых благодаря изобретению методов, организации

¹⁾ И, следовательно, она до сих пор еще не существует для нашего вещного права.

производительных предприятий, завоеванию областей сбыта только и превращает кучи стали и строительных материалов в фабрику, чего нет в том случае, если их силы не находят поля деятельности.

Кто хочет дать теорию современного труда, тот пусть подумает об этой основной черте всякой жизни; существуют субъекты и объекты всяческого жизненного типа, и разница тут тем резче, чем значительнее и богаче формами жизнь. Всякий комплекс существований состоит из меньшинства вождей и огромного большинства ведомых, другими словами — каждый род хозяйства состоит из труда руководящего и труда исполняющего. С узкой точки зрения Маркса и социалистических идеологов видна лишь последняя, незначительная, массовая работа, но она имеется только благодаря существованию первого рода работы, и дух этого труда может быть постигнут лишь с точки зрения наивысших возможностей. Решающим моментом является изобретатель паровой машины, а не кочегар. Все сводится к мышлению. Равным образом и относительно мышления деньгами существуют субъекты и объекты: такие лица, которые в силу своей личности творят деньги и руководят ими, и такие, которые содержатся за счет денег. Деньги фаустовского стиля являются извлеченною из хозяйственной динамики фаустовского стиля силою, и уделом единичной личности (хозяйственною стороною ее жизненной судьбы) бывает, изображать ли ей внутреннюю ценность своей индивидуальности часть этой силы, или представлять по отношению к ней ничто иное, как массу.

V.

Термин „капитал“ обозначает средоточие этого мышления, не совокупность ценностей, но то, что держит их, как таковые, в движении. Капитализм является одновременно с существованием крупногородской цивилизации и ограничивается весьма тесным кругом тех

лиц, которые своею личностью и интеллигентностью доказывают это существование. Противоположность этого — провинциальное хозяйство. Только безусловное господство монеты над античною жизнью, между прочим и над ее политической стороною, вызывает к жизни статический капитал, *arhome*, ту „исходную точку“, которая самим своим существованием привлекает к себе все новые и новые массы вещей, как бы в силу какого-то магнетизма. Только доминирование бухгалтерских ценностей, отвлеченная система которых как бы отделена двойною бухгалтериею от личности и которая продолжает работать с собственною внутреннею динамикою, вызвало современный капитал, мощь которого охватывает весь земной шар ¹⁾).

Под влиянием античного капитала хозяйственная жизнь выливается в форму золотого потока, текущего из провинций в Рим и обратно и ищущего все новых областей, содержимое которых в лице обработанного золота еще не „раскрыто“. Брут и Кассий повезли золото из малоазийских храмов на спинах длинных верениц мулов на поле битвы при Филиппах (вполне понятно, какую хозяйственную операцию могло быть разграбление какого-нибудь лагеря по окончании битвы), и уже Кай Гракх указал на то, что отправлявшиеся из Рима в провинции амфоры с вином возвращались наполненными золотом. Это стремление к овладению золотом иноземных народов всецело соответствует современной тяге к углю, который в более глубоком значении слова представляет не „вещь“, но богатейший запас энергии.

¹⁾ Только с 1770 года банки, как средоточия кредита, становятся хозяйственною силою, на Венском Конгрессе впервые принимающею активное участие в политике. До того банкир обычно занимался разменными операциями. Китайским и даже египетским банкам присущее значение, и античные банки даже в Риме времен цезарей лучше было бы называть *кассами*. Они занимались сбором податей в форме наличной монеты и отдавали наличные деньги взаймы, в рост; таким образом храмы с их запасами благородных металлов в виде посвященных даров стали „банками“. В течение целого ряда столетий Делосский храм отдавал деньги в рост за 10%.

Впрочем, соответствует также античному тяготению к близости и настоящему, когда к идеалу полиса присоединяется хозяйственный идеал аутаркии (autarkeia). Политической раздробленности античного мира должно было соответствовать и дробление хозяйственное. Каждый из крохотных государственных организмов желал иметь свое собственное вполне в себе самом замкнутое хозяйственное течение, которое совершало бы свой кругооборот независимо от всех прочих, притом на видимом расстоянии. Контрастом этого является западно-европейское понятие „фирмы“, мыслимое совершенно безлично и бестелесно средоточием силы, влияние которой излучается до бесконечности во все стороны и которой „владелец“ благодаря своей способности мыслить деньгами отнюдь не является представителем, но которую он, как маленьким миром, владеет и которую управляет, т. е. держит в своих руках. Эта двойственность фирмы и ее владельца была бы совершенно не доступна античному мышлению¹⁾.

Поэтому западно-европейская и античная культуры означают максимум и минимум организации, которая сама, даже как понятие, была совершенно чужда античному человеку. Его финансовым хозяйством является получающее общее признание т. наз. *provisorium*; так, напр., в Афинах и Риме богатых граждан обязывают снаряжать военные корабли; политическое значение римского эдила и его долги базируются на том, что он не только устраивает игры, сооружает дороги и здания, но и оплачивает расходы на это; правда, впоследствии он имел зато право возмещать понесенные при этом расходы грабежом своей провинции. Об источниках дохода начинали помышлять тогда только, когда в них нуждались, и к ним относились и их использовали без всякой предвзятой мысли именно в такой мере, как то требовалось

¹⁾ Понятие фирмы было выработано еще в позднеготическое время под видом *ratio* и *negotiatio* и не может быть выражено никаким словом языков античности. *Negotium* означает для римлянина конкретный процесс („совершение сделки“, не „владение“).

потребностью момента, хотя бы то поневоле приводило к уничтожению самих источников дохода. Разграбление собственных храмовых сокровищ, пиратство по отношению к кораблям собственного города, конфискация имуществ собственных сограждан являлись повседневными финансовыми методами. Если оставались излишки, то их распределяли между гражданами; этому приему, напр., Евбул в Афинах был обязан своею славою ¹⁾. Не было ни сметы, ни чего бы то ни было вроде хозяйственной политики. „Хозяйственное управление“ римскими провинциями являлось общественным и частным хищением, которым занимались сенаторы и денежные люди без внимания на то, можно ли было и каким образом снова восстановить расхищенные ценности. Античный человек никогда не думал о планомерном повышении хозяйственной жизни, имея в виду только результат данной минуты, возможно достижимое количество чистых денег. Без древнего Египта императорский Рим погиб бы; но там, к счастью, была цивилизация, которая в течение целого тысячелетия не помышляла ни о чем другом, как об организации своего хозяйства. Римлянин не понимал этого стиля жизни, не мог ему подражать ²⁾, но то случайное обстоятельство, что там имелся неиссякаемый источник денег для того, кто обладал политической властью над этим миром феллахов, сделало ненужным превращение проскрипций в обычай. Последнею такою финансовою операциею была резня, учиненная в 43 г. ³⁾, незадолго до включения Египта в состав Римской державы. Та масса золота, которую тогда привезли из Азии Брут и Кассий и которая равнялась армии и мировому владычеству, сделала необходимую проскрипцию 2000 богатейших жителей Италии, головы которых мешками были притащены на форум ради обещанного за то вознаграждения. Люди уже не были в состоянии

¹⁾ Pöhlmann, Griech. Gesch (1914), S. 216 f.

²⁾ Gercken-Norden, Einl. in die Altertumswiss. III, S. 291

³⁾ Kromayer u Hartmann'a, Röm. Gesch., S. 150.

щадить собственных родственников, детей и старцев, лиц, которые никогда не занимались политикой, если у них были запасы наличных денег. Результат оказался бы слишком незначительным.

Но с исчезновением античного мироощущения в ранний императорский период угасает и этот вид мышления деньгами. Монеты снова становятся имуществом, потому что человек опять начинает жить по-крестьянски¹⁾; таким-то образом объясняется сильная

¹⁾ Роль еврея той эпохи играли римляне, тогда как евреи являлись земледельцами, ремесленниками, мелкими промышленниками (Paván, die Nationalität der Kaufleute im römischen Kaiserreich, 1909; также Mommsen, Röm. Gesch. V, S. 411), т. е. они занимались теми профессиями, которые в готическое время стали объектами их торговых дел. В том-же положении находятся сейчас по отношению к „Европе“ русские, вся мистическая внутренняя жизнь которых считает мышление деньгами грехом (срв. странника Луку в „На дне“ Горького и всю идеологию Толстого). Тут, как и в Сирии во времена Иисуса, покоятся друг на друге два хозяйственных мира, верхний, чужой, результат цивилизации, проникший с Запада и ферментом которому служит вполне западно-европейский большевизм первых его лет, и внегородской, живущий только в низах, не подсчитывающий, но готовый выменять повседневно ему потребное. Высшую хозяйственную жизнь Петровского периода терпели, но ее не создали и не признавали. Русский не борется с капиталом, он его просто не понимает. Кто умеет читать Достоевского, тот почувст здесь близкое человечество, для которого денег во все еще не существует, а есть имущество в связи с такою жизнью, центр тяжести которой покоится не на стороне хозяйственной. „Страх перед большою ценностью“, который до войны многих привел к самоубийству, представляет непонятую литературную маскировку того факта, что преобразование денег чрез деньги внегородскому имущественному мышлению представляется преступлением, а с точки зрения возникающей русской религии — грехом. Подобно тому, как ныне города царские разрушены, и человек живет их снова, как в деревне, под покровом по-городскому мыслящего большевизма, так этот человек освободился и от западно-европейского хозяйства. Апокалиптическая ненависть (охватившая во времена Иисуса также еврейство к Риму) обратилась на Петербург не только, как на город, на центр политической власти в западно-европейском стиле, но и на средоточие мышления европейскими деньгами, что отравило всю жизнь и направило ее по ложному пути. Русское престонородье примирится с хозяйственными приемами Запада, подо но тому как это сделали первые христиане с римским, готический христианин с еврейским хозяйствами, но внутренне не примет в нем участия.

убыль золота со времен Адриана на далекий Восток, что до сих пор оставалось необъяснимым. Хозяйственная жизнь в виде золотого потока угасла под влиянием молодой культуры, почему и раб перестал представлять из себя деньги. Параллельно с утечкой золота совершается и то массовое освобождение рабов, которое оказалось невозможным приостановить никакими многочисленными со времен Августа законами, и при Диоклетиане, знаменитый максимальный тариф которого вообще уже не имеет никакого отношения к денежному хозяйству, но представляет регламентацию обмена имуществами, тип античного раба исчезает совершенно.

Машина.

VI.

Техника столь-же стара, как и вся вообще свободно движущаяся в пространстве жизнь. Одно лишь растение, поскольку мы наблюдаем и видим природу, само является ареною технических процессов. Животное, находящееся в движении, также обладает техникою движения, чтобы сохранить себя и защититься.

Основное отношение между бодрствующим микрокосмом и его макрокосмом, „природою“, состоит в осязании его чувствами, которое поднимается от простого чувственного впечатления к суждению чувств и тем самым действует уже критически („раз'единяюще“) или, что то-же самое, каузально-разлагающе. Установленное дополняется до возможно полной системы самых основных опытных данных—„признаков“, причем выявляется произвольный метод, благодаря которому чувствуешь себя в своем мире, как дома, который привел у многих животных к изумительной полноте опыта и за пределы которого не выводит никакое знание человеком природы. Но первоначальное бодрствование всегда есть деятельное бодрствование, далекое от всякой теории; таким образом этот опыт бессознательно приобретает на мелкой технике повседневности, притом на вещах, поскольку они мертвы. Тут сказывается различие между культом и мифом,

потому что на этой ступени нет грани между религиозным и светским. Всякое бодрствование представляет религию.

Решительный поворот в истории высшей жизни наступает тогда, когда установление природы (чтобы затем руководствоваться этим) переходит в укрепление, чрез которое она сознательно изменяется. Этим самым техника в известном смысле становится самодержавною, и инстинктивный древний опыт переходит в основное знание, которое ясно „осознается“.

Мышление эмансипировалось от чувства. Лишь человеческая речь вызвала эту эпоху. С отделением языка от говорения возникает целая масса знаков, представляющих нечто большее, чем признаки, а именно связанные с ощущением значения имена, названия, при посредстве которых человек держит в своих руках тайну явлений, будь то божества или силы природы, а также числа (формулы, законы простейшего вида), при помощи которых абстрагируется внутренняя форма действительного от случайно чувственного.

{ Тем самым из системы признаков возникает теория, картина, которая выделяется на высотах цивилизованной техники как и в своих примитивных началах из техники повседневности, потому что бездейственное бодрствование вызвало ее, но не наоборот. Люди „знают“, чего хотят, но должно было произойти многое для овладения этим знанием, и не следует заблуждаться насчет характера этого „знания“. Благодаря своему числовому опыту человек может пользоваться этою тайною, но он ее не раскрыл. Образ современного волшебника—распределительная доска с ее рычагами и обозначениями, из которой рабочий при помощи нажима пальцем может вызвать могучие действия—является символом человеческой техники вообще. Картина окружающего нас мира, как мы ее критически, т.-е. путем расчленения, развили в виде теории, в виде картины, ничто иное, как подобная доска, на которой известные вещи обозначены таким образом, что от легкого прикосновения опреде-

ленно получают известные действия и результаты. Тайна остается не менее гнетущей¹⁾. Но благодаря этой технике состояние бодрствования все-таки сильно действует на мир фактов; жизнь пользуется мышлением, как волшебным ключом, и на высоте некоторых цивилизаций, в ее больших городских центрах, наступает наконец момент, когда технической критике надоедает служить жизни; тогда она выступает в роли ее тирана. Оргию такого разнузданного мышления в действительно трагических размерах переживает западно-европейская культура именно теперь.

Люди подглядели жизнь природы и заметили известные признаки ее. Они начинают подражать ей такими средствами и методами, которые извлекают пользу из законов космического такта. Человек осмеливается разыгрывать роль божества, и понятно, что наиболее ранние изготовители и знатоки разных искусных вещей (здесь искусство возникло в качестве понятия, противоположающегося природе) главным же образом хранители кузнечного искусства рассматривались прочими людьми, как нечто совершенно особое, причем вызывали робкое поклонение или же ненависть. Существовал возраставший запас таких изобретений, которые часто создавались, затем опять забывались, которым подражали, которых избегали, которые усовершенствовались и которые в конце концов все-таки давали целым частям света сумму само собою разумеющихся средств, напр., огонь, обработку металлов, орудия, оружие, плуг и лодку, постройку домов, разведение животных и посев зерна. В первую голову какая-то мистическая сила влечет первобытного человека

¹⁾ „Правильность“ знаний по физике, т. - е. до данного момента, никаким явлением не опровергнутая применимость их, как „об’ясиения“, совершенно независима от их технической ценности. Несомненно неправильная и себе самой противоречащая теория может быть для практики ценнее, чем „правильная“ и глубокая, и физика давно уже остерегается применять слова правильно и ложно в популярном их смысле вообще к своим картинам, оставляя их лишь для формул.

и месту нахождения металлов. Чрезвычайно древние торговые пути к хранимым в тайне залежам руды тянутся по заселенным местностям и ведут по морям, пересекаемым при помощи весел; по этим путям впоследствии распространяются культуры и орнаменты; в воображении запечатлеваются легендарные названия в роде Оловянных островов и Золотой страны. Древнейшая торговля—торговля металлами; таким образом в хозяйство производящее и обрабатывающее проникает еще третий род хозяйства, чужое и полное приключений, свободно странствующее по разным странам.

На этой-то основе выситя техника высоких культур, в положении, характере и темпе которых сказывается вся душа этих великих сущностей. Почти само собою понятно, что античный человек, чувствующий себя поевклидовски в окружающей его среде, враждебен уже самой мысли о технике. Если разуместь под античную технику нечто такое, что определенно стремится возвыситься над общераспространенным мастерством Микенского периода, то никакой античной техники не существует ¹⁾. Триремы — увеличенные весельные лодки, катапульты и онагры заменяют руки и кулаки и не в состоянии померяться с ассирийскими и китайскими осадными орудиями; что же касается Герона и других ему подобных, то удачные мысли еще не изобретения: тут недостает внутреннего веса, провиденциальности минуты, глубокой необходимости. Там и сям играют знаниями (почему бы и нет?), появляющимися вероятно с Востока, но никто на это не обращает внимания и никто главным образом не помышляет о том, чтобы серьезно ввести эти знания в житейский обиход.

¹⁾ То, что Дильс собрал в своем труде „Antike Technik“, представляет огромный нуль. Если отнять то, что достояние вавилонской цивилизации, напр., солнечные и водяные часы, или то, что относится к арабскому раннему периоду, напр., химию и чудодейственные часы Газы, или, наконец, то, что во всякой другой культуре действовало бы оскорбительно уже одним фактом своего упоминания, как, напр., разные виды дверных запоров, то от всей античной техники не останется ровно ничего.

Нечто совершенно иное представляет техника фаустовская, с полным пафосом третьего измерения, притом с самых ранних дней готики, проникающая в природу, чтобы в л а с т в о в а т ь над нею. Здесь и только здесь само собою понятна связь осознания и использования ¹⁾). Теория с самого начала представляется гипотезою труда. Античный мыслитель „созерцает“, подобно божеству Аристотеля, арабский в качестве алхимика ищет волшебного средства, камня мудрости, при помощи которого без труда овладеваешь ²⁾) сокровищами природы, западно-европейский стремится направлять мир по своему желанию.

Фаустовского типа изобретатель и исследователь представляет нечто единичное. Могучая, основная сила его воли, яркость его видений, стальная энергия его практического мышления должны казаться всякому, кто на них взглянет с точки зрения чужих культур, жутко загадочными и непостижимыми; но все эти качества находятся у всех нас в крови. Вся наша культура обладает душою открывательскою (Entdeckerseele). Открывать то, чего не видишь, вовлекать в кругозор внутреннего зрения, чтобы овладеть, это с первого-же дня было ее упорнейшею страстью.

Все ее великие изобретения медленно назревали в глубине, были предсказаны предприимчивыми умами и испытаны, чтобы затем наконец осуществиться с неотвратимостью судьбы. Все они были близки самодовольному размышлению монахов ранней готики ³⁾). Если где, то

¹⁾ Китайской культуре известны также почти все западно-европейские изобретения, в том числе компас, подзорная труба, книгопечатание, порох, бумага, фарфор, но китаец старается добыть все нужное от природы путем мягкольстивого к ней отношения, не насилуя ее. Конечно, он чувствует выгоду своего знания и пользуется им, но не набрасывается на него с целью его хищнической эксплуатации.

²⁾ Это тот-же дух, которым отличается понимание деловитости у евреев, персов, армян, греков, арабов от предприимчивости западно-европейских народов.

³⁾ Альберт Великий продолжал жить в легенде в качестве великого волшебника. Рожер Бэкон размышлял над устройством паровой машины, парохода и воздухоплавательного аппарата (F. Strunk, Die Gesch. der Naturwiss. im Mittelalter [1910], S. 86).

именно тут вскрывается религиозное происхождение всякого технического мышления. Эти пылкие изобретатели в своих монастырских кельях, отвоевывавшие путем молитвы и постов у Бога его тайны, считали это богослужением. Здесь возник образ Фауста, великий символ настоящей изобретательской культуры. *Scientia experimentalis*, как впервые Рожер Бэкон определил естествознание, наступает, она, начинающая насильственный допрос природы при помощи рычагов и винтов, результат чего перед нашими глазами в виде усеянных фабричными трубами и техническими сооружениями равнин современности. Но вместе с тем для всех рядом с этим существовала в сущности фаустовская опасность, будто тут дело не обходилось без вмешательства чорта, который мысленно приводил их на гору, где обещал им всю власть на земле.

Таков смысл мечтаний странных доминиканцев вроде Петра Перегриня о *perpetuum mobile*, при помощи которого у Бога было бы насильственно отторгнуто Его всемогущество. Они все снова и снова поработались своим честолюбием, насильственно отнимая у божества его тайну, чтобы самим быть богом. Они прислушивались к законам космического такта, чтобы насиловать их, и таким-то образом они создали идею машины, как маленького космоса, повинующегося только воле человека. Но тем самым они преступили ту тонкую грань, с которой для молитвенного благочестия других начинался уже грех, и на этом они погибали, начиная с Бэкона и до Джордано Бруно. Машина дело рук дьявола—это всегда было ощущением истинной веры.

Страсть к изобретениям обнаруживает уже готическая архитектура (которую следует сравнить с нарочитою бедностью форм архитектуры дорической), а также вся наша музыка. Появляются книгопечатание и огнестрельное оружие ¹⁾. За Колумбом и Коперником следуют

¹⁾ Греческий огонь рассчитан на устрашение и поджог; здесь же сила взрывчатых газов переводится в энергию движения. Кто серьезно сопоставляет эти два явления, тот не понимает духа западно-европейской техники.

подзорная труба, микроскоп, химические элементы и наконец огромное множество технических приемов периода раннего Барокко.

Затем, одновременно с рационализмом, идет изобретение паровой машины, все перевертывающей и в самом основании изменяющей картину хозяйства. До того природа оказывала услуги; теперь она, как рабыня, запрягается в ярмо, и работа ее в насмешку измеряется лошадиными силами. От мускульной силы негра, которую применяли в организованных производствах, перешли к органическим запасам в недрах земной коры, где жизненная сила тысячелетий нашла складочное место в виде угля; ныне взоры обращаются на неорганическую природу, водяные силы которой уже привлечены на подмогу углю. С миллионами и миллиардами лошадиных сил количество народонаселения растет в такой степени, какой не считала возможною никакая другая культура. Этот рост—продукт машины, желающей, чтобы за нею ходили и ею управляли, за что она и увеличивает силы единичного лица в несколько сот раз. Из-за машины жизнь человека становится драгоценною. Труд превращается в великое слово этического мышления. В XVIII столетии оно во всех языках утрачивает свое пренебрежительное значение. Машина трудится и принуждает человека к сотрудничеству. Вся культура обнаруживает такую высокую степень деятельности, от которой содрогается земля.

И вот то, что затем развивается в течении едва одного столетия, представляет столь грандиозное зрелище, что человека будущей культуры, с иною душою, иными страстями, обуяет чувство, будто тогда природа пришла в колебание. И раньше политика бывало опережала города и народы, а человеческое хозяйство глубоко затрагивало судьбы мира животных и растений, но все это касалось жизни и вновь затем ступшеывалось. Эта техника оставит следы своего существования, когда все прочее будет забыто и погибнет. Эта фаустовская страсть совершенно изменила наружность земной поверхности.

Это—стремящееся изнутри и вверх, а потому именно близко родственное готике жизнеощущение, как оно выразилось, в период детства паровой машины, в монологах гетевского Фауста. Упоенная душа стремится перелететь через пространство и время. Неизъяснимая тоска манит в беспредельные дали. Хочется отделиться от земли, раствориться в бесконечном, покинуть узы тела и витать в мировом пространстве среди звезд. То, чего в начале искало пылко стремившееся ввысь благочестие св. Бернарда, что измыслили Грюневальд и Рембрандт своими задними планами, а Бетховен выразил в далеких от земли звуках своих последних квартетов, то теперь вернулось в одухотворенном упоении этой бесконечной череды изобретений. Отсюда возникает то фантастическое сообщение, при котором в несколько дней пересекаются целые материки, при котором плавучие города переплывают океаны, когда пробиваются горные хребты, мчатся по подземным лабиринтам, переходят от устарелой и в смысле своих возможностей давно уже использованной паровой машины к газовым моторам и с дорог и рельсовых путей, наконец, возносятся в воздух для полетов; вследствие того-же сказанное слово в один миг передается за все моря; поэтому-то вырывается наружу это честолюбие больших рекордов, сооружаются исполинские помещения для исполинских машин, чудовищные суда и мосты, сумасшедшие здания до самых облаков, легендарные силы, которые сосредоточены в одной точке и там повинуются руке ребенка, стучащие, дрожащие, гремящие стальные и стеклянные сооружения, в которых крохотный человек шествует, как господин и, наконец, чувствует природу подчиненною ему.

И эти машины в своем внешнем виде все более обесчеловечиваются, становятся все аскетичнее, мистичнее, эзотеричнее. Они опутывают землю бесконечною сетью тонких сил, течений, напряжений. Тело их все более одухотворяется, становится все замкнутее. Эти валы, колеса и рычаги больше не говорят. Все, что в них имеет решающее значение, прячется внутрь. Машину

ощущали, как нечто дьявольское и—по праву: в глазах верующего она знаменует смещение Бога. Она придает человеку святую каузальность и он молча, бесповоротно, с чем-то вроде предвидящего всеведения приводит ее в движение.

VII.

Никогда еще микроскосм не чувствовал в большей степени своего превосходства над макрокосмом. Здесь имеются мелкие живые организмы, которые умственной силою подчинили себе неживое. Как будто этот триумф не имеет себе равного, триумф, удавшийся только одной культуре и, быть может, лишь на небольшое число столетий.

Но именно тем самым фаустовский человек превратился в раба своего творения. Его численность и весь строй его образа жизни направляется машиною на такой путь, на котором нет ни остановки, ни малейшего движения вспять. Крестьянин, ремесленник, даже купец вдруг утрачивают почти все свое значение перед теми тремя фигурами, которые сама воспитала себе машина на пути своей эволюции; это фигуры предпринимателя, инженера и фабричного рабочего. Из совершенно ничтожной отрасли ремесла, обрабатывающего хозяйства, именно в этой одной, а не в какой иной культуре, выросло то могучее дерево, которое осеняет своими ветвями все прочие отрасли жизни—экономический мир машинной промышленности ¹⁾. Она побу-

¹⁾ Маркс совершенно прав: это одно из творений, притом самое горделивое, буржуазии; но он, находящийся вполне под очарованием схемы „древность — средневековье — новое время“ в своем мышлении, не заметил, что судьба машины зависит от буржуазии одной только культуры. Пока она властвует над миром, всякий неевропеец нищет раскрыть сущность этого страшного оружия; тем не менее внутренне он, будь то японец, индус, русский, араб, отрицает ее. Глубоко обосновано в самой сущности магической души то, что еврей,

ждает предпринимателя, равно как фабричного рабочего, к повиновению. Оба они являются рабами, а не господами машины, которая теперь только развивает свое дьявольское могущество.

Если же современная социалистическая теория видит только результаты деятельности рабочего и притязует лишь на эту деятельность, как на работу, то последняя ведь только и возможна благодаря суверенному и решительному труду предпринимателя. Знаменитое изречение о сильной руке, которая останавливает все колеса, плод неправильной мысли. Останавливать—да, но для этого не нужно быть рабочим. Держать в движении—нет. Центром в этом искусственном и сложнейшем царстве машины является организатор и управляющий. Это царство держится мыслью, а не рукою. Но именно оттого-то еще важнее одна фигура, чтобы удержать все это всегда грозящее рухнуть строение, важнее всей энергии предприимчивых властелинов, которые заставляют вырастать города и изменяют весь вид местности; это — фигура знающего машину жреца, фигура инженера, о которой во время политических споров обычно забывают. Не только высота, но и самое существование и развитие промышленности, зависит от существования сотни тысяч одаренных, строго вышколенных умов, владеющих знанием техники и продолжающих развивать последнюю. Втихомолку инженер является ее настоящим властелином и ее роком. Его мышление в потенции то, что машина представляет в действительности. Боялись с совершенно материалистической точки зрения истощения запасов каменного угля. Но пока существуют

в роли предпринимателя и инженера, избегает собственно создания машины и направляет свое главное внимание на коммерческую сторону их постройки. Но с такою же боязнью и ненавистью и русский взирает на эту тиранию колес, проволоч и рельсов, а если он сегодня и завтра даже подчиняется этой необходимости, то когда-нибудь он все это вычеркнет из своей памяти, удалит из своей среды и создаст вокруг себя совершенно иной мир, в котором и следа не останется от всей этой дьявольской техники.

квалифицированные технические следопыты (пионеры), опасностей этого рода нечего опасаться. Лишь когда не будет дальнейших преемников этой армии, работа мысли которой образует вместе с работой машины внутреннее единство, промышленности придется, вопреки предпринимательства и наличности рабочих, угаснуть. Если допустить, что наиболее одаренным представителям будущих поколений спасение души будет ближе и дороже всякой власти в сем мире, что под влиянием метафизики и мистики, ныне сменяющих собою рационализм, все возрастающее ощущение сатанизма машины захватывает наиболее отборных, с которыми только и приходится считаться (мы имеем тут дело с шагом от Рожера Бэкона к Бернарду Клервосскому), то ничто не задержит конца этого великого представления, являющегося ничем иным, как игрою умов, в которой руки могут играть лишь подсобную роль.

Западно-европейская промышленность забыла старинные торговые пути прочих культур. Течения хозяйственной жизни направляются в сторону местонахождения „царя угля“, а также в обширные области сырья. Природа истощается, земной шар приносится в жертву фаустовскому мышлению энергиями. Фаустовским аспектом является работающая земля; в созерцании ее умирает и Фауст во второй части трагедии, в которой предпринимательская работа нашла свое высшее преобразование. Нет ничего более противоположного свято покоящемуся бытию античного императорского периода. Наиболее далек от римского правового мышления инженер, и он добьется того, что его хозяйство получит свое собственное право, в котором силы и их проявления займут места личности и вещи.

VIII.

Столь-же титаничен напор денег на эту умственную силу. Промышленность так-же еще связана с землею, как и деревенское хозяйство. Она обладает своим местом

и своими проистекающими из почвы источниками материала. Только высший финансовый мир совершенно свободен, совсем неуязвим. С 1789 года банки и вместе с ними биржи, благодаря потребности в кредите для бесконечно разрастающейся промышленности, развились в особую могучую силу и они желают, как деньги во всех цивилизациях, быть силою единственною. Древнее соперничество между производящим и присваивающим хозяйством достигает размеров молчаливой исполинской борьбы умов, ведущейся на почве мировых городов. Это отчаянная борьба технического мышления за свою свободу с мышлением деньгами¹⁾.

Диктатура денег возрастает и приближается к естественному апогею, в фаустовской, как и во всякой иной цивилизации. И вот тут-то происходит нечто, что в силах понять лишь проникший в сущность денег. Если бы деньги были чем-нибудь осязаемым, то существование их было бы вечно; но так как они—форма мышления, то они угаснут, лишь только продумается хозяйственный мир до конца, притом по недостатку материала. Деньги проникли в жизнь крестьянства и привели в движение землю; они с деловой точки зрения мысленно перестроили все виды ремесла, чтобы равномерно сделать своею добычею производящий труд предпринимателей, инженеров и исполнителей. Машина с своею человеческою свитою, подлинная владычица века, подвергается опасности подчиниться более могучей силе. Но тем самым и деньги достигнут конца своих успехов, и тогда наступит последняя

¹⁾ Эта могучая борьба весьма малого числа твердых, как сталь, людей отборной расы и огромного ума, в чем обыкновенный горожанин ничего не видит и ничего не понимает, побуждает, рассматриваемая издали, т. е. с точки зрения мировой истории, спустить простую борьбу за интересы между предпринимательством и рабочим социализмом до положения плоского безразличия. Рабочее движение это то, во что превращают его вожди, а ненависть к тем, кто в промышленности играет роль руководителей, поставила его давно в условия служения бирже.

борьба, в которой цивилизация получит свою завершительную форму, борьба между деньгами и кровью.

Появление цезаризма сломит диктатуру денег и их политического орудия, демократии. После длительного торжества хозяйства мировых городов и их интересов над созидательной способностью политики политическая сторона жизни окажется всетаки сильнейшею. Меч победит деньги, воля властителя подчинит себе снова волю к добыче. Если указанные силы денег назвать капитализмом¹⁾, социализмом же стремление поверх всех классовых интересов вызвать к жизни могучий политически-хозяйственный строй, систему его аристократической забот и обязанностей, которая держит все в прочной форме для решительной борьбы в истории, то здесь мы имеем одновременно борьбу денег и права. Частные силы хозяйства хотят иметь свободный путь для добывания больших состояний. Никакое законодательство не должно препятствовать им в этом. Они хотят сочинять законы, в своих, конечно, интересах, и пользуются для этого своим ими самими созданным орудием, демократиею, купленною партиєю. Чтобы отбить эту атаку, право нуждается в аристократической традиции, в честолюбии сильных поколений, которое находит удовлетворение не в накоплении богатств, но в задачах настоящего властвования, вне всяких денежных выгод. Одна сила может быть свергнута только другою, а не принципом, против же денег нет иной силы. Деньги одолеваются и уничтожаются только кровью. Жизнь это — первое и последнее, течение космоса в микрокосмической форме. Оно — факт в пределах мира, как истории.

Пред непреодолимым тактом последовательных поколений в конце концов исчезает все, что создало бодрствование в мире духа. В истории дело идет о жизни и всегда только о жизни, о расе, торжестве воли к вла-

¹⁾ Сюда относится также политика интересов рабочих партий, потому что они хотят не преодолеть денежные ценности, но иметь их.

сти, а не о победе истин, изобретений или денег. Мировая история это—суд над миром. Она всегда становилась на сторону более сильной, полной, более уверенной в самой себе жизни, признавая ее право на существование, независимо от того, была ли эта жизнь до бодрствования правильною, и она всегда приносила в жертву могуществу и расе истину и справедливость и осуждала на смерть тех людей и те народы, которым истина была важнее фактов и справедливость существовавшей власти. Таким образом драма высокой культуры, весь этот изумительный мир божеств, искусств, мыслей, битв, городов, вновь заканчивается основными фактами вечной крови, представляющей нечто единое с вечно движущимися, космическими течениями. Яркое, преисполненное образов бодрствование вновь окунается в молчаливое служение бытию, как то показывают времена китайской и римской империй; время преодолевает пространство, и то-же время в своем неумолимом шествии воплощает беглую случайность культуры на нашей планете в лице такой-же случайности человека, в такую форму, в которой случайность жизни протекает некоторое время, тогда как пред нашими взорами позади всего этого раскрываются текущие горизонты истории земли и истории звезд.

Нам же, кого судьба ввела в эту культуру и в тот миг ее становления, когда деньги празднуют свою последнюю победу, и тихо, но неудержимо близится их наследник, цезаризм, тем самым указано в тесно очерченном круге направление хотения и долга, без того, впрочем, чтобы не стоило жить. У нас нет свободы достичь того или иного, но нам предоставлено делать необходимое или ничего. А задача, которую поставила необходимость истории, найдет свое решение, в союзе с отдельною личностью или против нее.

„Ducunt fata volentem, nolentem trahunt“¹⁾.

¹⁾ „Ведет судьба хотящего, упорного влечет“.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
Предисловие проф. Г. Генкеля	3

Деньги.

I	15
II	23
III	33
IV	43
V	55

Машина.

VI	61
VII	69

№ 15
4535-1000
125-28K

223/168

СКЛАД ИЗДАНИЯ
Петроград, Ковенский пер., 11.